Галина БЕЛЯНИЧЕВА ● **ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ**

ПОВЕСТЬ

1.

Весной в середине восьмидесятых набросилась на поселок ранняя майская жара. Она упала на землю, еще не защищенную зеленью, на голые деревья. Это было похоже на костер, разожженный в студеной ночи: лицо тебе печет и обжигает, а спину обдает холодом. Не впускаемая ни мерзлою почвой, ни ледяною водой, жара копилась в воздухе, раскаляла строения и предметы, а из-за несвоевременности и, главное, ненужности в эту пору переносилась особенно тяжко.

В три часа дня, в самый пик зноя, притащившийся из города автобус высадил у поселка трех подростков, возвратившихся из профтехучилища, или, попросту, из «фазанки». Быстрым шагом ребята пересекли раскаленное асфальтовое пространство и вошли в полосу тени перед домом номер два. Они двигались клином. Впереди худющий, словно вытянутая щипцами проволока, Сережа Сысутин, с боков и несколько позади, как почетный караул, — крепенький, будто годовалый бычок, Сережа Ройко и пока не развернувшийся в плечах Игорь Говорук. Их шаги и скрип гравия под ногами отдавались в каждом из окон от первого до пятого этажей. Но истомленный жарою дом никак на это не отзывался.

На углу от компании отделился Сережа: он жил во втором доме. Двое других продолжали шагать в том же темпе, теперь уже в тени третьего дома, обогнули его со стороны санчасти и разошлись по своим подъездам.

В одуряющей духоте лестничного колодца Игорь поднялся к себе на четвертый этаж и, собираясь приложить палец к дверному звонку, вспомнил, что мать с отцом сейчас дома. Это заставило его напрячься и ощетиниться, будто воробья, приготовившегося к драке.

Отворила мать. Скучно глянула на сына незабудковыми глазами. Из зала доносился храп уснувшего на диване отца. В квартире было прохладно и сумрачно. Мать закрыла окна соломенными циновками, спасая жилище от уличной жары.

— В училище был? — с подозрением спросила она Игоря.

— Был, — недружелюбно отозвался сын, сбрасывая у двери босоножки.

— Что делали?

— Ямы копали.

— В такую-то жару?

— А что делать — деревья надо сажать.

— Они же не примутся по жаре.

— Наше какое дело? Сказали — копаем.

— Обедать будешь?

— Буду...

— Не обедал, что ли, в училище?

— Почему? Обедал.

— Или обед был несытный?

— Почему? Сытный...

— Чего же ты во второй раз обедать собираешься?

— Пока ехал — проголодался! — зло выкрикнул Игорь.

Мать пожала плечами и пошла на кухню. Игорь лупанул по двери зацепившейся босоножкой. Он презирал себя: не хватает воли отказаться от материнского обеда, а ведь она всегда этого ожидает.

На обед были окрошка, чебуреки и напиток с лимоном. Выставив все это на стол, мать смирилась с потерей запасов и успокоилась. Сын же, наоборот, продолжал накаляться.

— Отгородились от мира! — проворчал он, войдя в темноватую кухню.

— Так жарко же, — объяснила мать, чувствуя наэлектризованность сына.

— На нашей стороне тень давно, — раздраженно заметил Игорь.

— Воздух горячий в окна идет.

— Так лучше, что ли, — ничего не видеть! — буркнул Игорь

и дернул шнур. Открылось стоящее вдалеке здание аэровокзала, «Икарус», замерший у его стены, примыкавшая площадь.

Чуть успокоившись, он сел за стол. Мать примостилась сбоку. Она перебирала на противне гречку.

В зале от грузного шевеления ухнул диван. Мать настороженно подняла голову. Игорь обернулся.

Осоловев от жары и сна, отец стоял, раскачиваясь, в дверях кухни, — видимо, с трудом соображая, для чего он поднялся. Определив наконец причину томления, шагнул в кухню, не взглянув на сидящих, открыл холодильник, вынул кувшинчик с желтоватым питьем, приложил его ко рту и стал жадно пить. Мать даже приподнялась на табуретке, шея ее по-гусиному вытянулась. Как она сейчас ненавидит отца, ненавидит неприкрыто, не заботясь, что сын может это увидеть. А отец пил, не обращая на нее никакого внимания. «Неужели ему наплевать, что мать злится? Может, он это нарочно, чтобы показать, кто зарабатывает деньги?»

Мать все-таки ничего не сказала отцу, промолчала. Видно, крепко помнила, кто в их доме зарабатывает деньги. Сыновьям, например, она бы ни за что не позволила хозяйничать в холодильнике.

— Это всего лишь вода, — сказал Игорь матери, рассматривавшей, что осталось в кувшинчике после того, как отец вышел.

— Пить надо по-человечески, — огрызнулась она.

— Ты все равно не дашь, сколько захочется.

— Есть и пить надо умеренно. Если бы твой отец про это не забывал, мы бы каждый год не дрожали, что его выставят из пилотов.

Игорь отвернулся, в нем снова плеснулась злость. Сколько лет он уже рыбачит. И не потому, что любит рыбалку, просто они с ребятами там варят. Он и в «фазанку» из техникума перебежал из-за кормежки. Чтоб меньше зависеть от матери.

Напротив второго дома, за столбами с натянутой для сушки белья проволокой, у тополиной стенки воткнута ножками в землю длинная скамейка. Днем здесь никого нет. Вечером же, до поздней ночи, скамью занимают подростки.

...Изнурительно жаркий день постепенно остывал. Раскаленный солнечный диск неприкаянно висел в ясной чистоте горизонта, обещая и завтра такую же жару. Двор звенел детскими голосами. Жильцы домов, не занятые на огородах, повыходили на балконы, сидели на скамейках, стояли кучками у подъездов.

Сережа Ройко по прозвищу Хомя и Игорь Говорук — Гавор — увидели друг друга с разных краев двора и под углом

пошли на сближение. Их пути пересеклись у скамьи, где пока никого не было. Они уселись на некотором расстоянии друг от друга — вместе и в то же время порознь. В еще большей независимости находились они по отношению ко двору. Все, что звенело криками, прогуливалось у подъездов или сплетничало на балконах, не входило в круг их внимания. Но и говорить друг с другом они не испытывали потребности.

Хомя извлек из кармана плоскую квадратную коробочку со спрятанным в ней «тараканчиком» — металлическим шариком, вправленным в гильзу из фольги. Забавные его усилия в любых положениях держать гильзу «на попа» скрашивали неинтересные уроки. А когда развлечься было нечем, Хомя погружался в летаргию — сон наяву. За это еще в младших классах его прозвали Хомяком.

Гавор, томившийся от бесцельности сидения, попросил:

— Дай покатать.

— Чтоб я тебе давал? — полуспросил, полуответил Хомя с гудящей трубностью в голосе.

Гавор больше не настаивал: сам отвечал бы точно так же. Скосив глаза, он стал наблюдать за скачками «тараканчика».

— Ну-ка, дай покатать! — повелительно раздалось над ухом Хоми.

Из-за тополей разом прихлынула ватага подростков и втиснулась в просвет между сидящими, оттеснив их на края скамейки. С этого момента переставали существовать имена, что дали ребятам родители, и фамилии, на которые они отзывались, в силу вступили дворовые клички: Юра Артюхов — Люлич, Сережа Сысутин — Сыс, Сережа Травкин — Молчун, Сережа Чубков — Хрыч, Витя Микитов — Витяга. Правда, были тут ребята, что переросли свои клички. Сашу Ядыкина редко когда называли Матросом, кличку Андрея Маркелова Балбес вспоминали только в минуты досады. Кличка уходила от хозяина, когда тот терял свое значение во дворе.

Голос, прозвучавший над ухом Хоми, принадлежал Люличу, и Хомя без возражения протянул вожаку свое сокровище. Люлич с азартом принялся гонять шарик. Ватага следила за игрой.

— Дай мне! — потянулся к коробочке Маркелов.

Люлич, уже пресытившийся игрушкой, отдал ее без сожаления. Но, уйдя из Люличевых рук, она потеряла интерес для всех. Вяло погоняв гильзу, Маркелов сунул ее соседу, тот передал дальше, и коробка вернулась к Хоме. Он спрятал ее в карман.

Сыс, презрительно уклонявшийся от увлечения «тараканчиком», вдруг сказал:

— У второй пеленгаторной табун ходит.

Лавочка взволновалась:

— Где?

— Откуда знаешь?

— Сколько коней?

— В пади, за садами, — объяснил Сыс. — Эдик Рыбко ездил туда на моторном... Семь лошадей и жеребенок.

— Завтра едем! — постановил Люлич.

Ребята промолчали — согласились. Но тут Хрыч, не увлекавшийся конями, сообщил:

— Мужики на озерах щуку блеснят. Помногу надергивают.

Люлич подтвердил:

— Само то, пока жара. Мелочь на поверхность идет, а щука за ней.

— На Симонихе тоже ловят, — вставил Хомя. — Цурикова с ночевки целый рюкзак притащили. И караси есть.

— Везде сейчас берет, — встрял Гавор. — Пацаны с болота ротанов таскают...

Люлич заколебался. Блеснить ему хотелось с такой же силой, как и гонять на конях.Он покосился на Сыса — прямого и невозмутимого, будто медный болван. Сыс был равнодушен к рыбалке и признавал только коней. На лицах Гавора и Хоми читалось согласие на любое решение ватаги. Для остальных слово Люлича законом не было: они принадлежали к другой возрастной группе. Ребята в поселке табунились обычно по классам. Когда же подростки взрослели и группы сливались, вожаков одних не всегда признавали другие. Старшие ребята, например, выше ценили Сыса, а свои продолжали подчиняться Люличу.

Ватага Люлича должна была бы сейчас учиться в десятом классе. Но после восьмого ребята, как по команде, поуходили в «фазанку», а девочки — в педучилище. По своей воле в школе остался один только Ядыкин да по настоянию родителей — Люлич. Ребята, что были годом старше, дружно окончили школу, тогда еще не было поветрия насчет «фазанки». Те, кто поступил в летное, — а раньше у портовцев была традиция идти в летное, — уехали, оставшиеся держались сами по себе или примыкали к Люличу.

— Давай к коням, — окончательно решил Люлич.

Сидевшие на лавочке снова промолчали, хотя было ясно, что пойдут не все. Маркелов на коня и сесть не умеет. Хрыча от рыбалки не оторвать. Свои, конечно, пойдут, кроме, известное дело, Ядыкина. Ну, этот в их компании вообще пустой номер.

Хрыч и Хомя, уставшие сидеть без движения, затеяли воз-

ню: кто кого завалит за лавку. Они росли медленно, оба бывали биты ровесниками, привыкли к подчинению — и вдруг к шестнадцати годам раздвинулись в плечах, раздались в груди, сделались сильнее прежних обидчиков, но до конца в это еще не верили.

Соперники уперлись друг другу в плечи, пытались заплести ноги противника, но пока ни один не поддавался. Компания, посмеиваясь, следила за борьбой.

Вдруг кто-то негромко свистнул — скорее всего Сыс. Он торчал аршином, держа под прицелом весь двор. Борцы ослабили объятья и оглянулись. Остальные примолкли, повернув лица к углу дома, откуда шла, вернувшись из города, Вероника. Ее розовое платье плыло вдоль стены, как блик заходящего солнца. Мальчишки на лавочке затаились. Они каждый день ездили в город, он надоедал им учебой, а развлекал только кино и мороженым, ну еще магазинами спорт- и радиотоваров. А вот город Вероники, похоже, был другой — как праздничный сон, как дискотека на целый мир, где знакомятся и говорят такие слова, от которых делается хорошо, где ходят под ручку с остановившимися лицами, где люди нужны друг другу совсем по-другому. Подростки насмехались над тем городом, но когда его толчки и призывы достигали сердца, оно сжималось в волнении и замыкалось в тайне. Вероника распространяла вокруг себя дурманящий аромат того города. Парни набычились в неприятии, однако жадно вдыхали чужой запах. Когда девочка скрылась в подъезде, они выдохнули, некоторые с шумом, словно освобождаясь от наваждения.

И вдруг Вероника снова показалась во дворе: может, у нее ключа не было или ей что-то понадобилось в огороде. Она обогнула столбы с проволокой и направилась к тополям по косой тропке. Шла, слегка пригнув голову, наверняка зная, что взгляды скамейки наведены на нее. Она пересекла тополиный ряд и дорогу за ним. Подростки чуть не вывернули шеи, провожая ее глазами. А когда она исчезла за углом крайнего гаража, долго молчали.

— Тополя пахнут, — нарушил тишину Люлич.

Вот, оказывается, что щиплет им нос! Это горьковато-терпкий запах раскрывающихся почек, острый дух пробивающейся травы...

Люсьена Говорук коротала вечерок в саду у приятельницы — такой же тощей и обесцвеченной блондинки. Пичкали друг друга домашними новостями. Люсьена жаловалась:

— Не понимаю, чем их кормят в училище? Игорь говорит, что пообедал, а домой приехал — снова за стол. Двенадцать

чебуреков умял. Муж, и тот меньше съел. Государственное обеспечение называется! Да в училище он мне дороже, чем в школе, обходится.

Приятельница слушала и не слышала: у нее горела на языке своя жалоба и она ждала только паузы в разговоре.

На взгорке, куда были повернуты лица женщин, засветилось вдруг розовое облачко. Люсьена замолчала и стала вглядываться. Когда розовое платьице замелькало уже на спуске, узнали Веронику.

Сколько ни замыкайся, ни отгораживайся от людей в тесном поселке, все равно окажешься с ними в самой непредвиденной связи, — подумала Люсьена.— Вот эта девочка — одноклассница Игоря, а ее брат — приятель младшего сына, маленький садик этого семейства — как раз перед садом приятельницы. Сквозь проволочную ограду хорошо видно, как мать девочки копается на грядках. Вероника свернула в свой садик и заговорила с матерью. Слышались голоса, но слов было не разобрать.

Не успели приятельницы вернуться к прерванной беседе, как девочка снова вышла на дорогу. Ступала она по-женски уверенно.

— Выросла Игорева невеста, — с грустью вздохнула Люсьена.

— Игорева невеста? — заинтересовалась приятельница.

— Да я так, к слову, — спохватилась Люсьена. — Вспомнила вот, как они с Игорем маленькие были. Игорь, бывало, как заберу его из садика, все с ней гуляет. Муж раз с балкона увидел их да и брякнул: что ж ты, мол, с такой сопливой ходишь. А потом воспитатели в садике стали жаловаться, что бьет Игорь девочку и сопливой дразнит. Мать ее к нам приходила жаловаться. Мужу пришлось Игоря выпороть. А этой весной муж ее увидел и глаза раскрыл: такая девица! Игорь, мол, куда ты смотришь! А тот прямо как с цепи сорвался: «Хватит об этом! В свое время наговорились!» Дерганый Игорь какой-то. И отца ненавидит...

Когда Вероника снова прошла мимо скамейки, Маркелов подхватил прислоненную к ноге гитару и страдательно затянул:

Верони-ка, Верони-ка! —
Распустившийся цветок.
Верони-ка, Верони-ка! —
Сядь со мною бóк о бóк.

— Бок ó бок, грамотей, — поправил Ядыкин.

— Сойдет и так, — отозвался Маркелов.

— Нормальных ребят кого в армию, кого куда, а тебя, Балбес, — никуда! — вставил шпильку Гавор, сидевший рядом с гитаристом.

— Я вот подожду, когда тебя загребут, и куплетик на дорожку сложу, — повернулся к нему Маркелов.

— Ты Хрычу сложи, ему уходить.

— Я и Хрычу сложу... Щас погодите.

Маркелов глубоко вздохнул, подержал воздух в груди и выдохнул его вместе с рифмой:

Служи, Хрычик, ладно,
Письма пиши складно!

— Ну и сложил! — хмыкнул Гавор. Компания засмеялась.

— Это ж экспромт, чудаки, — оправдывался Маркелов. — Поднатужусь, не такое произведу!

— Произвел уже, стихни. Без тебя найдем, как проводить Серегу.

2.

Просунувшись в чердачную дверцу, Хомя резко гукнул, выгоняя голубей наружу. Птицы заполоскались над крышей дачного домика, взблескивая в синеве белыми крыльями. Внизу звякнула цепь. Это Мухтар запрыгнул на конуру — свой наблюдательный пост. Он уселся в сторожевой позе, с охотничьим азартом на морде. В голубиной стае было несколько вертунов. И однажды один из них стал добычей Мухтара. С тех пор собака заболела охотничьей страстью, но голуби сделались мудрее. Хомя посвистел, подгоняя голубей. Они серебристо рябили в пронизанном солнцем воздухе.

С плоской крыши далеко просматривались окрестные сады, еще не затененные листвой и в этот жаркий час пустынные. Лишь за несколько участков отсюда, прикрывшись шляпой, загорала на скамейке Вероника, да в соседском саду шарашились разогретые вином и солнцем приятели Горика Топоркова. Их одногодки давно служили, а этих по разным причинам отбраковали. Вот они и жили в свое удовольствие, пили по-черному. Хомю их дела не касаются, лишь бы не вязались. А то ведь чуть что — внагляк пристают. На всякий случай Хомя от них отвернулся, а потом и вовсе укрылся за фронтоном крыши.

Мухтар тонюсенько взлаял, упрашивая хозяина еще раз пугнуть птиц. Но Хомя пренебрег просьбой пса. Он улегся и закрыл глаза, хотя спать не хотелось.

...Почему по утрам, когда идешь в училище, вроде и солн-

це такое же ласковое, и небо ясное, и птицы поют, — а на душе так мало радости? И уже совсем ее нет, когда сидишь на уроках? Почему она возвращается сразу, как приходишь домой? И даже не домой, а сюда, на огород к голубям, кролям, Мухтару, цыплятам? Вот его спрашивают: чего, мол, хочешь в жизни? А вправду — чего?.. Того, что уже есть, но только, чтоб не лезли и не отнимали. Конечно, тот, кто спрашивает, ждет совсем другого ответа. Приходится молчать — так быстрее отстанут.

— Серег, а Серега! — окликнули его снизу.

Он долго не отзывался, а потом с неохотой выглянул из-за крыши. За проволочной оградой стоял Топорков, в некотором отдалении — еще двое.

— Серега, сойди сюда, что скажу! — призывал он.

— Чего? — настороженно спросил Хомя.

Мухтар, дремавший в тени, встряхнулся и сел, вслушиваясь в голоса.

— Сойди, говорю, — снова позвал Топорков.

Мухтар, остерегая хозяина, гавкнул, Хомя прикидывал, что им от него надо. И так весь отцовский инструмент вытянули, а не дашь — дразнить начинают.

— Скажи, чего надо...

— Не жмись, выходи! — приказал Топорков.

Хомя понимал, что спускаться нельзя. Но внутренне он уже подчинился, как всегда подчинялся сильным и хитрым. При этом он как-то не взял в расчет, что сам теперь не слабей Топоркова: накачал мышцы в родительском огороде. Топорков этого тоже не учел: для него Хомя оставался затюканным пацаном, к тому же Топорков был не один.

Заметив, что хозяин нащупывает ногой перекладину лестницы, Мухтар рванулся было к незваному гостю, но цепь, натянувшись, отбросила его назад.

Хомя осторожно подошел к ограде, держась в защитных пределах своего участка. Топорков уговорами вытянул его на нейтральную территорию. Бледное, с зеленью, лицо Топоркова придвинулось близко к Хоме.

— Ты чего тут торчишь? Подсматриваешь?

— Кто подсматривает? — оторопел Хомя.

— А что тогда делаешь? — В лягушачьем лице Горика проглядывала какая-то ватность: пьян, что ли, до одури?

— Голубей кормлю, — объяснил Хомя.

— Что они, чушки — столько жрать?

— Я сплю потом.

— День белый, а ты спишь? Как мы тут — так ты спишь? А ну скажи, что мы делаем?

— Откуда я знаю.

— Не знаешь, а треплешься! — ощерился Топорков. — Ты подлянку пустил, что мы тут гужуемся?

— Ничего я не пускал!

— А кто тогда, кто? Кроме тебя, никто тут не лазает.

Хомя успел поймать нацеленный на него кулак и резко рванул его вниз.

— Ах ты, гад, так? — прохрипел Топорков и двинул Хомю ногой.

Все детство Хомю запугивали и били. Но, видно, извечному его унижению в этой драке подошел край. Ответный удар швырнул Топоркова на землю. Два других парня, подскочив, тоже навалились на Хомю. Мухтар хрипел и рвался с цепи. Через несколько участков отсюда стояла на скамейке Вероника и кричала:

— Придурки аэропортовские! Подонки! Трое на одного! Трусы! Всем расскажу, как вы деретесь!

— Во, гад, — бык, с удара валит! — ругался Топорков и молотил Хомю ногами.

Осатаневший Мухтар выдернул цепь и метнулся к дерущимся.

— Ребята, срывайся! — упредил Топорков и первым понесся к своему дому.

Хомя упал на цепь, ухватил ее руками. Дверь топорковской дачи захлопнулась. Удерживая рвущегося Мухтара, Хомя глядел на дом, в котором укрылись обидчики, а его рука продолжала ощущать мягкость чужого тела.

Подныривая под проволоку, к нему бежала Вероника. Она не боялась ни собак, ни мальчишек...

Команда Люлича направилась к привокзальной остановке десятого автобуса. С ним шли Сыс, Хомя, Гавор, Витяга и еще двое салаг. Карманы ребят были набиты подсоленным хлебом, под рубахами спрятаны самодельные или выменянные у коюхов уздечки.

Автобус стоял на остановке. Перед ним прохаживалась Вероника с городским кавалером. Ну и жених — белобрысый, носатый, сутулый! В поселке-то парни получше.

Портовские скучковались под деревьями на выходе из аллеи: в отдалении от автобуса, но зато на виду у шофера. Тот, видя, что в салон не очень торопятся, всхрапнул мотором. Белобрысый скакнул на подножку. Портовцы обтекли оставшуюся в одиночестве Веронику и гуртом вломились в заднюю дверь отходящей машины.

Белобрысый уже занял одиночное кресло и теперь тянул-

ся на сидении, стараясь увидеть Веронику, стоявшую с противоположной стороны.

Портовские с замкнутыми лицами прошли по проходу и выстроились перед креслом городского. Тот недовольно покосился, но осел на сидение и отвернулся к окну на своей стороне, где ничего интересного не было.

Какое-то время ехали в выжидательном молчании. Потом Люлич, стоявший к белобрысому ближе всех, легонько придавил коленом его колено. Парень мгновенно вскинулся. Как боксер.

— Видишь, сколько нас? — спросил Люлич.

— Ну и что? — прищурился белобрысый.

— А то, что девчонки у нас не лишние.

— Мне-то что! — дернул плечом парень и увел взгляд к окну.

Люлич тем же маневром вернул его внимание и внушающе проговорил:

— По таким делам мы в город не ездим и к себе не пускаем.

— Автобусы все равно ходят, — пробурчал парень.

— Автобусы на вокзал ходят. На вокзал ездить можно. А чужих у домов мы не любим.

Парень повел взглядом по лицам портовцев — не враждебным, не угрожающим, а просто безмятежно-настырным.

— У меня тоже друзья есть, — намекнул он.

— Что нам за дело до твоих друзей? В своем поселке мы хозяева.

Изложив городскому все, что требовалось, Люлич пошел к передней двери. Ватага потянулась за ним. На полпути между поселком и городом портовские из автобуса вышли.

До лога, где скорее всего пасся табун, надо было идти километров семь через дачи, мимо рощиц и полей до того места, где землю коробят морщины распадка. Глубокая падь здесь мелеет, выходя наружу плоской лощиной, и длинным рукавом тянется до другой, еще более глубокой.

Ребята двигались на закат. Накалившееся за день солнце оседало к земному краю, где собиралась какая-то облачная пенность. «Погоды не будет», — отметил про себя Хомя. Остальные, похоже, не обратили на это внимания.

В лог ватага спустилась уже в сумерках. На дне было много темнее, чем наверху. Долго брели по лощине, пока вдалеке смутно не замаячили силуэты коней. Прибавили шагу. Лошади обозначились четче, а вместе с ними — и седоки... Портовцы озадаченно переглянулись: кто их опередил? Свои из поселка не выходили. Городские этого места не знают. Игнать-

евцам сюда далеко. Чигиринцам тоже не близко. Может, конюхи?

Посовещавшись, решили подойти поближе и посмотреть. Всадники, похоже, тоже их заметили, потому что хлестнули коней и полетели навстречу. По очертаниям ли седоков, интуитивно, по опыту ли прежних стычек, Сыс вдруг точно определил:

— Чигиринцы.

— Мотаем! — скомандовал Люлич.

Ватага рассыпалась. Витяга с салагами понесся по дну лощины назад. Хомя с Гавором побежал тоже назад, но по косой забирая наверх. Люлич и Сыс карабкались по отвесной боковине оврага.

Всадники тоже узнали бегущих.

— Козявки портовские! — закричали они. — Коней захотели? Сейчас покажем вам коней!

Конников было пятеро. Все в седлах, они одною рукой сжимали ремешки уздечек, в другой держали короткие пастушеские кнуты. А у портовцев в запаске хранились лишь три латаных-перелатаных седла, уздечки были большей частью из старых ремней, хлысты они выломали по дороге на падь. Широкие рубахи конников пузырились, нестриженные чубы вились по ветру, кнуты, бившие пока вхолостую, разрывно ухали. Все они были крепкие, широкие в плечах. А в фигурах портовцев проглядывала подростковая вялость, только некоторые начали чуть матереть. Однако возраст у тех и у других был один — по шестнадцать, от силы семнадцать лет.

Доскакав до карабкавшихся по откосу, верховые попробовали достать их кнутом — не достали и соблазнились добычей полегче, мелькавшей по дну оврага. Они разделились: двое отвернули по косой, а трое погнались за бегущими по прямой.

Гавору и Хоме досталось несколько обжигающих ударов по плечам и спине, но они успели отбиться хлыстами и ушли по откосу.

Бежавшие понизу в конце концов тоже сообразили, что спасение наверху. Они метнулись на боковину, но поздно — конники их настигли. Запасливый Витяга, обломивший в лесу здоровую суковину, прикрыл младших. Он остервенело крутил палкой вокруг себя. Лошади пугались, седоки ярились, бичи хлопали.

Выбравшиеся из лога Люлич и Сыс с высоты увидели, как бестолково отмахивается Витяга, как, взяв в кольцо, верховые избивают младших ребят. Перебежав по верху оврага, они снова прыгнули в лог, а следом за ними — Хомя и Гавор.

Свежей силой портовские навалились на конников, пере-

крывавших младшим путь к отступлению. Кольцо развернулось, парни пошли стенка на стенку. Чигиринцы напирали, портовцы оттесняли. Младшие ребята, сильно побитые, вышли из боя. Они поднялись наверх и оттуда криками подбадривали своих.

Длинный Сыс на лету поймал конец целившей в него плети. Хомя, подпрыгнув, перехватил ее руками. Оба они, повиснув, выдернули кнут из рук чигиринского пацана. Тот бросил коня вперед за утерянной плетью. Отступив назад, Сыс осадил лошадь этим кнутом. А когда она, заржав, шарахнулась, хлестнул ее снова. Конь понесся вниз.

Забрав у Витяги суковину, Люлич тыкал ею перед собой, норовя достать всадника. У Гавора сломался хлыст, а Хомя уронил свой под ноги лошади.

Портовцы отступали наверх, чигиринцы без усердия преследовали: позиция делалась для них неудобной.

Последний раз схлестнувши бич с бичом противника, Сыс зашвырнул трофей далеко в лог и припустил вверх по оврагу.

Враждебные стороны оторвались друг от друга на такое расстояние, с которого сражаться можно было только языком. Началась словесная перепалка, куда более энергичная, чем сама драка.

Между тем туман затянул лощину белой пеленой. Лошади утопили копыта в текучем молоке и сверху казались подрезанными, силуэты всадников потемнели. Фигуры наверху превратились в кривящиеся закавыки.

Нагрозившись вдоволь, противники разошлись. Портовцы двинулись наискось по пашне, пересекая как придется поле за полем. Чем дальше уходили от места боя, тем сильнее болели раны. Глубоко за полночь вернулись в уснувший поселок и разбрелись по квартирам. Утром матери с изумлением разглядывали детей: разлинованных кровоподтеками и ссадинами, точно всю ночь напролет их драли ремнями.

3.

На пятачке кочковатой низины, зажатой между озером и сопкой, Хомя с братом Павлушей и с братишкой Вероники Темой разбили палатку. Но прежде чем растянуть брезент, им пришлось выжечь старую траву, срезать кочки, настелить поддон из веток и сухой травы.

Палатка была заслуженная — ветхая и в подпалинах. Ребята выменяли ее у рыбаков на старую резиновую лодку, которую, в свою очередь, получили в обмен на велосипед, соб-

ранный из бросовых запчастей. Палатка выглядела солидно и обещала надежное укрытие. У ребят, рыбачивших дальше по берегу, такой не было.

Костер развели у подножия сопки. Кашеварить взялся Тема, самый младший. Он решил сварить кулеш из рыбных консервов, крупы и картошки. Дома бы такой суп он есть не стал, а здесь — другое дело. Братья Ройки брали Тему с собой уже не раз, но вот с ночевкой — впервые. Поэтому он благоговейно поглядывал на палатку, на озеро, где в тальниках, невидимые отсюда, рыбачили братья. Темины удочки они тоже закинули. Время от времени Тема отрывался от костра и бежал поглядеть, как у него клюет.

Рыбалка шла туго. Хомя вытянул несколько карасей. Павлуше попадались одни гольяны. На Темины удочки шла и вовсе мелочь. Щука, на которую в первую очередь загадывали, упорно не схватывалась. Павлуша решил попытать счастья на противоположном берегу, но Хомя запретил:

— Не поплывешь, — сказал он. — Волну мне пустишь.

Тема пытался блеснить спиннингом, но только разодрал береговые кочки.

Павлуша, потеряв интерес к рыбалке, убежал за сушняком на сопку. А Хомя озадаченно крутил головою, попеременно оглядывая воду, небо и прибрежные заросли. Отчего так: мужики тут щуку за щукой таскают, а им ни одной не попалось.

Вдруг ни с того ни с сего одна из Теминых удочек сползла в воду и поплыла. Ни волны, ни течения, а удочку потянуло к середине озера. Хомя все это видел, но не захотел прерывать блаженного оцепенения, из которого он завороженно следил за уплывающей удочкой.

— Темыч! Удочку унесло! — завопил Павлуша и кинулся вниз.

— Ты почему удочку не ловил? — укорил он брата.

— Гляди, как плывет... — неопределенно отозвался Хомя.

— Сом, наверно, прицепился? — предположил Павлуша.

— Теперь уже бесполезно, — лениво отозвался брат.

— Удочку все равно достать надо, — решил Павлуша.

Они с Темой сбросили башмаки и рубахи, бултыхнулись в воду. Волной раскачало погруженные в озеро удочки. «Все равно никакой рыбалки!» — досадливо подумал Хомя.

Ребята вытянули удилище с обрывком лески, — наверно, это была работа сома. Пока разглядывали остатки удочки, продрогли так, что зубы застучали. Только теперь заметили, что с погодой творится что-то неладное. Когда сюда ехали, от жары плавились. Пока палатку поднимали, несколько раз окунались в воду. Потом про жару как-то позабыли. Наверно,

стало в меру прохладно. А сейчас — на тебе! — замерзли. Даже Хомя, который в воду не лазил, и тот натянул куртку.

Занятые делами, ребята с опозданием косились на зарю, багровевшую между синими лохмотьями облаков.

— Как же я позабыл! — хлопнул себя по лбу Хомя. — Я ведь знал, что погода будет меняться. Потому и не ловится.

Небо над головой ребят наливалось свинцом. Комары донимали даже возле костра. Рыбачившие на противоположном берегу мужики загасили огонь, снялись и уехали.

Ребята без охоты поели супу, лишь наполовину опустошив котелок. Раз суп не съели, чай кипятить было не в чем. Посидели, подумали и пораньше забрались в палатку, на суконное одеяло.

Для троих места вполне хватало. Хомя, самый рослый, и тот вытянулся в полный рост. Повозились немного, устраиваясь, и потихоньку стали засыпать.

Когда по брезенту застучали редкие капли дождя, пожаловали гости: Люлич, Гавор и Хрыч, ночевавшие на вольном воздухе. Им, оказывается, больше повезло: Гавор с Хрычом вытянули по щуке, а Люлич — аж две. С их приходом лежать в палатке стало невозможно. Один ленивый Хомя сохранил прежние удобства, а все другие сидели, подтянув к подбородку колени. Чтобы прогнать комаров, старшие курили.

Дождь потюкал и перестал, но гости и не подумали уйти. Засыпая, они захватывали пространство, вытесняя наружу самых хлипких — Павлушу и Тему.

Мальчики перебрались к заглохшему костру. Подбросили сушняку, раздули чуть дымившие угли. Пока прыгали возле чадящего огонька, пока отбивались от комаров, сонливость прошла. Костерок, если к нему придвинуться, припекал. Но чуть отклонишься от огня, ночь охватывала леденящим холодом, мучали комары.

От нечего делать ребята поели загустевшего супу, покричали в темноту разные потешки, погорланили песни, со снятой с велосипеда фарой сходили на сопку за сушняком. Но в конце концов все надоело — и потешки, и песни, а комары не унимались и холод не отставал. Глухой полог ночи, казалось, накрыл их навечно.

И вдруг на противоположном берегу озера, откуда еще вечером уехали мужики, разгорелся костерок.

— Эй, Павлин, Павлин Ройко! — долетел оттуда тонкий мальчишеский голос.

— А-а! — с охотою отозвался Павлуша.

— Кто с тобой?

— Седой Темыч, а ты кто?

— Боря Калашников.
— А еще кто?
— Виталя Бутюк.
— А еще?
— Папка мой.
— Чего вы так поздно?
— На Симонихе рыбачили.
— Ну и как?
— Не ловится.
— Здесь тоже.
— Попробуем. А чего вы не спите?
— Комары не дают.
— Нам тоже. Мы дымокур ставим.

Костерок на той стороне погорел-погорел и увял. Тему и Павлушу охватила дремота.

— Ребятки, а ребятки! — вдруг окликнул мальчиков с сопки старческий голос.

Павлуша с Темой вздрогнули, враз проснувшись, и со страхом уставились в темноту.

Там, где поперек сопки пролегала узенькая тропа, шевелилось что-то бесформенное. Тема просто онемел. А Павлушу с испугу охватила болтливость.

— Ты кто? — требовательно спросил он.
— А ты как думаешь? — спросил голос.
— Наверно, леший.
— Леший? Где же тут лес, чтобы лешему взяться?
— Тогда водяной.
— А я не мокрый, не склизкий и ноги у меня не лягушачьи, — сообщил голос.
— Значит, ты просто дед, — догадался Павлуша.
— Вот это вернее, — согласился голос, и что-то двинулось вниз, к костру.

Павлуша забеспокоился:

— Ты не думай, мы не одни. Вон палатка, а в ней народ.
— Спит твой народ.
— На той стороне Боря Калашников с отцом. Крикну — и прибегут.
— Прибегут, как же! Спит твой Боря, — отозвался дед, входя в круг костра. На нем был пастушеский балахон и облезлый треух.
— Откуда ты знаешь? — заинтересовался немного успокоившийся Павлик.
— Я по стоянкам прошел — все спят.
— А ты зачем ходишь?
— Чтобы вовремя поспеть, если кому понадоблюсь.

— Кому ты понадобишься? — усомнился Павлуша.

— Да хотя бы вам. Бреду, значит, на огонек и вижу — двое мальцов у костра оба сомлели, того и гляди в огонь клюнут.

— И не спали мы вовсе, — обиделся Павлуша.

— Подшевелил — так и не спите, — напомнил дед. Он подогнал под себя чурбачок и уселся, будто возле своей печки.

— Ты чей, дед? — спросил Павлуша.

— Это вы, ребятки, чьи-то, а я сам по себе.

— Мы тебя, дед, не знаем, — обрел дар речи и Тема.

— Гляди-ка, а я было подумал, что ты немой, — обернулся к нему старик.

— Да, правда, мы тебя не знаем, — поддержал Павлуша.

Дед подгреб палкой головешки, собирая их в опрятную кучку, потом сказал:

— Те, что в палатке, со мною знакомы.

— Так они там, а ты тут, — сделался вдруг подозрительным Павлуша.

— Проснутся — вам скажут, — пообещал дед и повел насмешливым глазом. — Никак, ребятки, вы меня боитесь?

— С чего б мы боялись? — вспыхнул Павлуша.

— Как же не бояться, все-таки среди ночи в одиночку сидите.

Позади завибрировал брезент. Наружу выбрался Люлич и сразу завернул за палатку. Возвратившись, он собрался было нырнуть в полог, но старик его окликнул:

— Юрик, а Юрик, скажи ребяткам, кто я такой.

Люлич сонно уставился на костер, потом буркнул:

— А, Ночной Дятел! Ходишь все... — С этими словами он исчез в палатке.

— Видишь, знает! — заулыбался дед.

— А почему Ночной Дятел? — заинтересовался Павлик.

— Так — глупое прозвание, — отозвался дед. — Евдоким Карпыч меня кличут.

Павлуша с Темой прокрутили в голове неповоротливое имечко и решили, что «дед» все-таки проще.

— Что, ребятки, заварим чаек? — предложил гость.

— У нас суп в котелке, а больше не в чем, — отозвался Павлуша.

Дед рассмотрел над костром загустевшие остатки супа:

— Собачка поест. Пиратка, Пират! — позвал он.

Тотчас на свет вышла долговязая собака с тяжелой мордой, обнюхала вываленное на землю варево и нехотя, будто снимая пробу, слизнула.

Павлуша с Темой переглянулись. Эта собачка могла запросто одной лапой свалить любого из них.

— Сам ты, дед, боишься. С собакой ходишь, — решил Павлуша.

— Собачка мирная, зря не тронет. Не меня она сторожит. У нее тут своя работа.

Дед передал Теме котелок.

— Сходи-ка помой посудину. Травкой хорошенько потри... водички прихватишь. Заварка-то у вас есть? А сахарок? Это дело! Разбавим ночку чайком, скорей полиняет.

До самого рассвета дед донимал ребят разговорами. Стало ясно, почему его прозвали Ночным Дятлом. Зато костер горел жарко, холод не замечался, комары — и те отвязались, а утро на самом деле пришло скорее.

Заметив, что ночь поредела, дед стал прощаться. Ребятам наказал проверить удочки. Подрагивая, мальчики побрели к воде. Темина удочка тянулась так тяжело, что он подумал — снова за кочку зацепилась. Но когда из белого парка выпрыгнул сначала яркий поплавок, а потом потянулась темная, увеличенная сумеречным рассветом рыбина, Тема пронзительно вскрикнул.

Павлуша бросился на помощь, вместе с Темой потащили рыбу на берег.

Выброшенная на траву, она заметно уменьшилась и все-таки была большой. Это оказался карась. Но не простой, а великан. Может, единственный такой на все озеро. Схватив рыбину, ребята кинулись к палатке и с шумом в нее протиснулись.

— Чего разорались? — сонно спросил Хомя.

— Глядите, какой карась попался! — крикнул Павлуша.

— Из-за карася так орать, — пробурчал Гавор, поворачиваясь на другой бок.

— Тебе такой и не снился! — показал рыбину Павлик.

Неизвестно, увидел ли ее Гавор, но Люлич увидел и моментально полез из палатки.

— Покажи, — попросил он уже на свету. Оглядел рыбину, проверил ее на вес и собрался было к своим удочкам, но ненароком взглянул на противоположный берег: в волокнах рассвета там проезжал верховой и бежала собака.

— Дятел домой подался, — проговорил Люлич.

— А коня где взял? — удивился Павлуша.

— Его конь, собственный. Только не уведешь: собака, видишь, какая?

— Что он, кулак, что ли, — собственного коня имеет? — спросил Павлик.

— Ему совхоз на премию жеребенка дал. Дятел пастушил раньше, — объяснил Люлич.

4.

В холодное воскресенье подростки с утра засели в гараже у Витяги Микитова. Под завыванье магнитофона резались в карты. Из ватаги здесь были сам Люлич, Витяга, Молчун — Муромов, Гавор и ребята постарше.

Микитовский гараж стоял на самой последней, нижней улице кирпичного городка, построенного на склоне пади, огибавшей поселок с тыла. Служил он не столько для техники (у Микитовых был только мотоцикл), сколько для хозяйственных целей: в погребе хранили продукты, на железной печке с выставленной наружу трубой кипятили чай. Было здесь даже спальное место на всякий случай. Микитов-отец — единственный, кто не гонял пацанов из своего гаража.

Но сегодня, — может, из-за погоды — игра у ребят шла скучно. Даже музыка не действовала. Тогда Люлич предложил сыграть на фанты. Раздали и скинули карты. Проиграл Гавор. Все в ожидании уставились на Люлича: фант называл он. Люлич не спешил, постукивал колодою по сбитому из мелких планок щиту и загадочно посмеивался. Потомив таким образом публику, он, насмешливо глядя на Гавора, выпалил:

— При свидетелях признаешься Веронике в любви.

Игравшие захихикали. У Гавора застыло лицо.

— Это не фант, — сказал он. — Это блеф.

— А хоть и блеф, — отозвался Люлич. — Ты же проиграл.

— А хоть и проиграл. На блеф я не отвечаю.

— Фант есть фант. Сам же садился играть.

— Я с кем садился? С теми, кто блефует, или кому я верю?

— А это уж как получилось. Фант выполнять обязан.

— Не выкручивайся, Гавор! Фант есть фант, — поддакнули ребята. Разве им охота вникать? Он на их месте то же бы требовал.

— Этот фант на бесчестье. Выполнять не буду! — отрезал Гавор.

— В такой игре правил не нарушают, — с угрозой сказал Люлич.

— А счеты сводят? — выкрикнул Гавор.

— Какие у нас с тобой счеты? — спросил Люлич.

— А такие, что в одну стенку уперлись. Мною желательно дыру пробить?

— Ты без намеков давай...

— А ты без блефа...

Люлич налился темной краской. Ишь ты, как раскусил! Тюкнуть бы Гавора в зубы покрепче. Но не тюкнешь, потому что свой: давно уже в одном строю бьются и друг друга не

подводят. В этом Гавор прав. А он, как вожак, неправ...

— Перемени фант, Люлич, — разрядился вдруг Молчун.

— Фант произнесен, на нем и повиснет! — взревел Люлич. — Будет исполнять — пусть сидит с нами. Не будет — пусть катится к свиньям. Бойкот ему на игру.

Молчаньем ребята подтвердили согласие. Гавор вышел из гаража. Пока его видели, он шел не оглядываясь мимо длинного ряда железных дверей с навешенными на них замками. Но, завернув за угол, в растерянности остановился, не зная, куда себя девать, — не домой же идти. Поглядел на синюшный день, на чернильную гряду сопок вдали, на небо в разноцветно-пестрых заплатах. От всего веяло безнадегой. Двор был пустынным. Вечно галдящая малышня и та попряталась по квартирам. Где-то в огородах выла бензопила, скорее всего ее включили Ройки. Их отец вечно что-нибудь строит и сынов возле себя держит. К ним, что ли, сходить? При отце там, конечно, делать нечего. Ну, а кроме них, податься и вовсе некуда.

С неохотой потащился к ройковскому огороду.

Голуби раздувшимися пузырями торчали на гребне крыши. Мухтар, отрабатывая свой хлеб, пару раз гавкнул на гостя, но тут же завилял хвостом.

В сарае для сена, приспособленном под гараж, тарахтел движок, визжала пила, подвешенная к верстаку. Ройки, как водится, были при деле. Хомя подавал отцу и забирал у него распиленные планки — отходы, оставшиеся от строительства баньки. Павлуха расхаживал по длинной скамье и укладывал обрезки в поленницу, примыкавшую к высокой ограде куриного дворика...

С приходом Гавора пила заработала вхолостую, потому что Хомя повернул голову в сторону приятеля и не видел, что делается у отца. Тот подогнал сыновей. А Гавор, чтобы не торчать без дела при работающих, попросил пугнуть голубей и полез на крышу терраски.

Голуби никак не хотели сниматься: суматошно крутили головами, встревоженно гулькали, но, несмотря на охвативший их страх, пережидали опасность. В конце концов они недружно взлетели и грязной рябью замутили воздух, явно целясь вернуться на насиженные места. Павлуша подсвистывал, помогая Гавору, но на птиц это не действовало. Мухтар без воодушевления позвякивал цепью. Он хоть и занял боевую позицию, только, видно, на добрую охоту не рассчитывал.

Ройки прервали работу и с неодобрением смотрели на бестолковых птиц. Гавор подогнал голубей еще раз. Их лениво поволокло не вверх, а в сторону, на крышу крольчатника.

Снимать их оттуда не имело смысла. У Ройков полон двор построек, замотаешься бегать. Гавор посидел наверху, оглядывая окоченевшие дали, затем спустился и зашагал к калитке. Хомя с сожалением поглядел ему вслед.

Отойдя немного, Гавор оглянулся. По всей длине гребня островерхой ройковской дачи сидели голуби. «Во тоска-то! Ничем не сгонишь!»

...За оградой коллективного огорода, в маленьком дворике перед травкинским сараем, суетилась у лежащих велосипедов ребячья мелочь: Леха — младший Травкин, Тема Седов и еще несколько пацанов. Раньше этот сарай был местом притяжения для Люличевой ватаги. Они так же возились тут с велосипедами, лепили из старья мопеды, гуртовались по поводу и без повода, транжиря безмятежные часы детства. Когда же появились причины укрыться от глаз, обжили микитовский гараж. А тут все так же ватажится сопливая мелочь, и матери, наверно, бегают сюда искать своих сыновей.

Гавор перегнулся через низкую ограду, подобрал с земли гаечный ключ и сунул его в откинутый на спину капюшон Теминой куртки. Тот, конечно, огрызнулся — с учетом силы и возраста обидчика. Гавор расхохотался. Что-то непонятное случилось с его настроением, оно будто перевернулось радостной стороной кверху. Может, из-за сарая: вспомнилось, как там собирались. Может, из-за настырности Хоминых голубей. А может, ни из-за чего: шестнадцать с хвостиком — самое время, когда человек кувыркается вверх-вниз, точно баланс в нем перекатывается. От избытка чувств Гавор подпрыгнул и болтнул в воздухе ногами, тотчас получив в спину от Лехи Травкина:

— Козел майский!

Дать бы Лехе крепко взашей, да ладно, с этим не заржавеет, пусть до случая поживет малый.

К нечаянной радости Гавора у домов он набрел на Сыса, который вышел из подъезда и осоловело разглядывал невеселый мир. Небось, половину воскресенья продрых. Вон как глаза припухли... Гавор молча встал рядом, не мешая Сысу привыкать к обстановке. Когда они в команде, бывает, за вечер слова не скажешь. Все молчат — и ничего, не давит молчание. А вот когда молчишь с кем-нибудь вдвоем, то будто душу вытягивает.

Сыс, наверно, что-то почувствовал, потому что сказал:

— Сашка Ядыкин, небось, как всегда · книжки читает...

Эти слова звучали как предложение разбавить скудную компанию еще одним человеком, а кого, кроме Сашки, сейчас найдешь дома?

Ядыкины жили в соседнем подъезде, и балкон их был рядом с сысутинским. Отворила Сашкина мать. На ребят пахнуло теплом и опрятным бытом. Разглядев ребят, Ядыкина поскучнела. Матери чаще всего не любят, когда к сыновьям приходят друзья.

— Позовите Сашу, — попросил Сыс.

— Он занимается, — ответила Ядыкина.

— Нам всего на минутку, — нажал Сыс.

Видимо, клюнув на «минутку», Ядыкина отошла от двери, оставив ее открытой. Было видно, как она двигается по квартире, грузно переставляя опухшие ноги.

Появился чумной от зубрежки Сашка и, захваченный врасплох, покорно согласился выйти на улицу.

...В хорошую погоду их поселок будто сквозными ходами пересечен и открыт на все стороны света, в плохую он съеживается до нескольких домов, бесхозно брошенных на пустой земле. Сразу становится заметно, что пойти тут абсолютно некуда. Все дома унылы, одинаково продуваемы ветром. Двор, выставивший наружу пробоины и щербины захудалого обустройства, неприютен.

Ребята прошлись туда-сюда по поселку и от нечего делать подались на насиженное место — в подвал второго дома.

Хотя картошку из кладовок уже давно вытащили, а проходы вымели и присыпали песком, в подвале пахло сыростью и разворошенной прелью. Подслеповато и сонно горели лампочки, наводя на все оранжево-дымный оттенок.

Ребята устроились позади кладовок. Сыс развалился на широких трубах, несших зимой горячую воду, Ядыкин и Гавор сели на пустые ящики.

— Где все? — лениво поинтересовался Сыс.

— Да сидят по разным местам, — неохотно отозвался Гавор, не упоминая про микитовский гараж.

Сыс не стал уточнять: пока ему хватало подвала. Ядыкин страдал по оставленным книгам. Гавор радовался, что он снова в компании.

— Я вот читал, — ни с того ни с сего прорвало Ядыкина, — что человек живет, пока любит... Ну, не обязательно человека, а любое, что есть на свете. А когда он не может любить, он делается будто мертвый, как камень, например, или другой неживой предмет. Если это так, то любовь, выходит, сильнее жизни...

Гавор хмыкнул, показывая, что принимает разговор за ржачку. В то же время насторожился, любопытствуя, что будет сказано дальше. Сыс, заплутавшийся в своих мыслях, очнулся и убежденно сказал:

— Ерунда все это! Я вот никого не люблю, а разве скажешь, что я мертвый?

— Точно, — поддакнул Гавор и вопросительно посмотрел на Ядыкина.

Ядыкин растолковал:

— Это у тебя сила жизни. Она такая, что и сквозь асфальт траву прет.

— Ну вот, — удовлетворился Сыс. — Буду обходиться силой жизни.

— Так она не навсегда, — заметил Ядыкин. — Потом тебе станет все до лампочки.

— С чего бы это мне стало все до лампочки? Что я — конопли до балды накурился? — Сыс уставился на Ядыкина немигающими, как у жука, глазами.

Ядыкин смущенно замолчал. Гавор скучающе улыбнулся.

— Сила жизни — она ведь тоже любовь, — начал выпутываться Ядыкин, — ну, неосознанная иногда, как, например, любовь к родителям. Мы их любим, только сами этого не знаем. Им кажется, что мы их не любим, а на самом деле не можем их не любить...

— Как это — любить и не знать? Так не бывает, — воспротивился Гавор.

— Да глупости все, вместе с самой любовью! — внезапно ожесточился Сыс. — Придумывают байки, чтобы, значит, в загс не противно было идти. Если она есть, эта любовь, то куда она потом девается? Мать вон без умолку рассказывает, как отец любил ее до женитьбы. А я как погляжу, батя больше столб телеграфный любит, чем мать. Да не нужно этой любови совсем!

Еще когда они гуртовались в травкинском сарае, кто-то по дурости бросил спичку в канистру с остатками солярки. Оттуда выплеснулся столб пламени. Сыс схватил бачок и, держа его перед собой, вынес наружу. Тогда ему опалило лицо и руки. Чуть не все лето он пролежал в больнице и долго еще ходил с перевязанными руками.

— Нет, без любви никак нельзя, — доказывал Ядыкин. — Как люди будут друг к другу притягиваться? Как жениться? Как детей рождать?

— Будут жениться, будут рождать — этого не остановишь, — презрительно сказал Сыс. — Только без всякой любовной мути, на трезвый ум.

Гавор заинтересованно поворачивал лицо то к одному, то к другому.

— Ты вот на трезвый ум к кому-нибудь подойдешь? — спросил Ядыкин.

— А мне это ни к чему.

— Потому и не к чему, что нет притяжения. А вот у Гавора притяжение есть. Замечал, как он мимо нашего дома по трассе идет? Идет-идет, будто ничего его не касается, а потом раз — и голову повернет. И аккурат против известных окон. Я тоже так пробовал, место заметил между двух елочек, а все равно, как у Гавора, не выходит: то перейду, то не дойду, а то и вовсе забуду.

— Ну и что же, что он смотрит? Зато она не смотрит, — скривил губы Сыс.

— И чегой-то я вам всем сегодня дался? — обиделся Гавор.

— Мозги зря квасим! Размяться пора, — неожиданно поднялся Сыс.

Во дворе они потеряли интерес друг к другу и без сожаления разошлись. Гавор, подумав, снова поплелся на огород к Ройкам.

С дровами там уже закончили, щепки Павлуша подбрасывал в костерок. Хомя возился в крольчатнике. Увидев друга, он высунулся наружу и обменялся с ним понимающим взглядом. Гавор встал у костра.

— Что, Игорь, без дела места себе не найдешь? — заметил Ройко-отец.

— Дело-то есть, напарника нету, — отозвался Гавор.

— За Серегой, что ли, пришел?

— Ага.

— У нас, видишь, своя работа.

— Папа, дрова мы заготовили, у кроликов я почистил, — подошел Хомя.

Отец, позволивший себе минуту отдыха, неторопливо перевел глаза с чужого мальчика на своего.

— Сейчас будем трубу на душ выводить, — сказал он.

— Папа, — почтительно, но твердо сказал Хомя, — сегодня воскресенье, и я хочу погулять.

Гавора всегда удивляли ройковские церемонии. На своих родителей, например, он просто давил грузом бесповоротных заявлений.

Ройко-старший неспешно обмозговал слова сына и признал их справедливыми. С посменной работой он потерял цену воскресеньям, а у парня это единственный день на неделе, когда он отдыхает.

— Сережа, Павлуша, можете идти гулять. Трубу завтра поставим, — распорядился он.

Павлуха тут же исчез, будто его и не было. Хомя с другом пошел в Ключевую падь за конями.

5.

К трем часам день загустел еще сильнее, засинели края горизонта у дальних распадков и далеких лесков.

Земля, конечно, не стягивается узлом в одном каком-нибудь месте, но к Ключевой пади она словно бы направляла все, что было в окружающем рельефе. Туда, чередуясь, косили лески, переливаясь из одного в другое, углом заходили поля, вплотную прилегал длиннющий язык пастбищ с городками летних доек и дамбой водопоя. Коров на дойку еще не пригнали, и огромным пространством выгонов владели лошади, ходившие у края пади, в том самом углу, где в речную долину выбегали все ключи.

Для портовцев и ингатьевцев Ключевая падь была вроде пугала. Рассказывали, будто в сопках здесь водятся змеи, будто можно заплутать в тупиках бесчисленных ответвлений, сорваться с крутого отвеса или завязнуть в болоте. Но, несмотря на страхи, ребята и взрослые с охотой катались в пади на лыжах, выбирая для спуска пологие горки. Шею никто еще не свернул, а вот лыж поломали изрядно.

Падь прикрывал кустарник, росший на склонах, а голые взлобья сопок, не казавшиеся крутыми, летом затягивала трава, зимой прикрывал снег. Падь обнаруживалась, когда выйдешь на самый край и увидишь под собою провал.

Обогнув последний лесок, ребята наткнулись на художника, расположившегося на травке с мольбертом. От нечаянности встречи ребята будто окаменели. Ни зимою, ни летом посторонних здесь никогда не бывало, тем более городских. Этот, видать, на мотоцикле придул: вон и машина у леска задрана. И нашел же за чем прибыть! Если есть тут что диковинное, так только сам художник. Ребята подняли друг на друга недоуменно-насмешливые взгляды, потом уставились в ту сторону, куда глядел художник.

Картина в общем-то обыкновенная, много раз виденная. Край пастбища, спускающегося в речную долину, в силу оптического обмана кажется прилегающим прямехонько к сопкам, что тянутся по противоположному берегу реки. От этого лошади ходят вроде не по вольному лугу, а у подножия чернильной стены. Над ними пятнистое небо, а по бокам клубами уходят вдаль синие просторы. Что в этом художнику так понравилось?

Мальчишки неслышно подступили к нему сзади, заглянули из-за его плеча. Художник втиснул окружающий пейзаж в прямоугольное оконце. То ли красок у него не хватало, то ли не все еще перенес, только вид из оконца был намного

беднее, точно на не проявившейся до конца переводной картинке.

— А-а, зрители! — обернулся к ребятам художник. — Небось, за конями пришли? Всю натуру мне перепутаете...

Мальчишки промолчали, ни капли не сочувствуя его заботе. Они тоже не просто так сюда шли.

— Может, костерок соберете? — предложил художник. — Пальцы что-то занемели.

Гавор промолчал, показывая, что чужие заботы его не волнуют. А Хомя повернулся и пошел в лес. Гавор поглядел на него с презрением, а когда перевел глаза на художника, споткнулся об его холодновато-прищуренный взгляд. Лицо у мазилы было молодое и круглое, но с таким твердым выражением, как у школьных учителей физкультуры, мастеров профтехобучения, а еще — у курсантов школы милиции. Гавор дернул плечом и подался следом за Хомей.

Тот выдирал из кустов суковатую валежину.

— Забыл, зачем шли? — упрекнул его Гавор.

— Сами погреемся, — безмятежно ответил Хомя, протаскивая мимо друга разлапистую сушину.

Художник присел на корточки и распрямил над огнем скрюченные пальцы.

— Хорошо! Эх, хорошо! — приговаривал он.

— А дома еще лучше! — съязвил Гавор. Он никак не мог смириться с тем, что его загорбатили.

Художник нисколько не обиделся, а с добродушной открытостью проговорил:

— Где бы я еще увидел такое небо?

Ребята непроизвольно поглядели вверх. Небо всегда было каким-нибудь. Сегодня оно показывало на холод.

— Лошадей любите или только катанье? — спросил художник. — Ты вот, — он кивнул Хомe, — похоже, животных любишь. А ты, — перевел он взгляд на Гавора, — само катанье, и все равно на чем — на коне, на мотоцикле...

Гавор слушал бесстрастно: наплевать, что́ этот человек о нем думает. А Хомя внимал с уважением. Приученный отцом, он никогда не возражал старшим, сохраняя за собой право послушаться их или нет. К художнику он явно прислушивался. Гавора это раздражало. Они пришли сюда ради коней, а не ради разговоров. Художник, наверно, понял, что из двух мальчиков полагаться можно только на одного. К нему он и обратился:

— Поймаешь коня, подъезжай сюда, ладно? Я набросок сделаю.

Хомя кивнул, соглашаясь.

Мальчишки отошли от костра. День вобрал их в себя, размыв синим их силуэты. Художник подумал-подумал и прибавил в оконце два новых пятна.

Ненастный весенний день, как и осенний, — сразу западает в сумерки.

На задах поселка Гавор поил коня и хмуро смотрел на спеленутые тьмою громады домов, на разноцветную пестроту светящихся окон, на глазки фонарей, щурившихся в темноту. Остывавшая рубашка холодила тело. Хомя так и не догнал его. Видно, проторчал у художника и ушел домой пешком.

Гавор не отпустил коня у водопоя, как собирался, а подогнав его, верхом въехал во двор. В широком коридоре, делившем дома на две группы, выжидательно остановился.

Никто нигде не маячил, даже собаки попрятались. Все сдалось на милость ненастья и ночи. От раскрытых подъездов несло безнадегой и скукой. «Забились по норам и телевизоры смотрят!» — с неприязнью подумал Гавор. Но по-настоящему его занимали, конечно, не взрослые, а пацаны, которых ненастье тоже посмыло. «Ну, эти в одной норе. И даже заваляшей мыслишки нет о тех, кто не с ними».

Сколько Гавор ни отирался возле ребят, все равно подкрадывался такой момент, когда в него вцеплялось одиночество. Что же, он так и не научится выдерживать самого себя? Есть же такие, которым в одиночку нравится... Не из пацанов, конечно, нет. Пацанам это не нравится. Они, как намагниченные, в кучу сбиваются.

Гавор подхлестнул лошадь, погнав ее к фасаду второго дома. Она тяжело ударяла копытами о твердую землю. Гулкая волна топота летела впереди всадника, отдаваясь в каждой из квартир, выходивших на трассу, и впуская в каждую тревогу.

Проскочив второй дом, Гавор развернул коня, чтобы снова пройти под той же стеною. Но тут в крайнем окне первого этажа растворилось окно и наружу высунулась озаренная комнатным светом голова Лехи Травкина.

— Ты чего тут разъездился! — крикнул Леха, рассмотрев всадника. — Она еще днем в город уехала.

Ох, этот Молчунов братик так и выпрашивает задолженное! Гавор подал коня вперед и занес руку с кнутом для подсечки. Леха не стал дожидаться расчета, захлопнул окно и нырнул за штору.

Гавор выбрался на трассу, шагом проехался вдоль второго дома. Все три окна ее квартиры были освещены, но за сомкнутыми шторами ничего не разглядеть. Может, и нет ее дома,

а окна все равно греют... Ничто Гавору сейчас не мешало. Трасса пустовала. Аэропорт за лесной занавесью затаенно помалкивал. Конь умиротворенно подремывал...

Вдруг в отдалении, со стороны города, вспыхнул в темноте огненный глаз. От него протянулся острый луч, раздвоившийся на слепящие пучки. А еще через какое-то время стали просматриваться и две слабые подсветки. Ага, автобус из города прет... Скорее всего «десятка». Гавор осоловело глядел на приближающийся автобус, пока его не толканула догадка: «Если она в городе, то вернется этим рейсом, потому что следующий будет совсем поздно».

Гавор съехал с трассы и укрылся в сосняке под насыпью, перед первым домом. Наверху проплыл озаренный желтым сияньем автобус, исчез за кирпичной стеной остановки, выбежав из-за нее, застыл у столба. Возле автобуса появились люди. Вероники среди них Гавор не увидел. Правда, часть пассажиров оставалась еще на противоположной стороне трассы, ожидая, когда уйдет автобус. Разглядеть их было невозможно. Теперь надо было засечь, кто из них повернет ко второму дому.

Несколько человек сбежали с насыпи и прошли, переговариваясь, мимо Гавора, не заметив его в темноте. Они направлялись к первому и четвертому домам.

После того, как автобус ушел, дорога слилась с чернотой ночи. Силуэты идущих растворились. Они удалялись от остановки все дальше и дальше. Но вот кто-то один свернул с трассы. На счастье, отъезжавшая от аэровокзала машина захватила черный движущийся столбик в свои лучи, и он ало вспыхнул. «Вероника!» — радостно подумал Гавор и стеганул коня.

...Вероника летела, будто подхваченный ветром листок. Она надеялась на стены родного дома. Но черный топочущий страх настиг ее прежде, чем она добежала до угла. Нечто громадное и жуткое вынырнуло из тьмы и ринулось прямо на нее. Она в ужасе отшатнулась, потеряла равновесие, но не упала, а осела на корточки, схватившись руками за землю.

— Что, испугалась? — спросил с высоты мальчишеский голос. По глупой радости этого голоса она поняла, что ей нечего бояться, и, поднявшись с земли, проговорила:

— Чтоб я такого дурака боялась?

— А чего тогда бежала?

— Связываться не хотела.

Однако, обойдя коня со стороны морды, она припустила вдоль торцовой стены дома и юркнула за угол. Всадник приручено сопровождал ее торопливый бег.

Когда Вероника нырнула в подъезд, всадник, подъехав

вплотную, пригнул голову и стал наблюдать, как летят по ступенькам ее ноги.

— Еще в квартиру мерина заведи, дурак! — слетело сверху.

Гавор, как ошпаренный, отпрянул от подъезда.

У всякого происшествия всегда найдется свидетель. Этот, запоздало покуривая, торчал на балконе.

— Совсем обнаглела шпана! В дом с конями прутся! — возмущенно крикнул он.

Гавор уже пришел в себя и защитно ощерился:

— Может, на балкон к тебе прыгнуть?

— Я те прыгну! — пригрозил свидетель, но, сообразив, что угроза всадника неисполнима, озлился еще больше: — А ну давай, я т-тебя встречу! Я т-тебе рога обломаю!

— Себе обломай, а то за крышу цепляешь! — огрызнулся Гавор и сгинул в ночи.

6.

Портовских ребят вдруг разом будто залихорадило. Они кучковались то на одном, то на другом углу, табунились возле подъездов, роились во дворе. К подростковым сплоткам подбивалась вся поселковая пацанва, за исключением разве уж совсем малышни. Ватаги стояли молча, будто стянутые магнетической силой. Жильцы забеспокоились: «Не затевают ли чего?» Но, узнав, что все это из-за проводов в армию, к тому же единственного парня, успокаивались.

Служить уходил Хрыч — Серега Чубков. Его взяли первым из команды, почти сомкнувшейся с Люличевой ватагой. В каждом возрасте портовских ребят хватало, поэтому в армию из поселка брали каждую весну и осень. Но те ребята с нынешними не возжались, и исчезновение их не переживалось. Хрыч же всегда был свой, всегда вместе со всеми. Самыми дорогими для Хрыча были две вещи — техника и рыбалка. Всю жизнь его видели пылящим по дороге или ночующим на озерах. Из-за этого он и кличку свою заработал.

Как бы Хрыч ни спешил, он никогда не мог проскочить мимо потерпевшего аварию пацана: тут же присаживался и ремонтировал машину. Если не удавалось починить на дороге, Хрыч не забывал разыскать пацана во дворе, чтобы довести дело до конца. В коноводах он никогда не ходил, но ребята с ним считались, а малышня осаждала бесконечными просьбами.

Круглое и румяное лицо Хрыча, с веснушками на крыльях короткого носа, никогда не теряло добродушного выражения. Рос он плохо и в армию уходил как бы недозрелым. Его друж-

ки уже начали разбредаться по разным профессиям, по разным местам работы, но во дворе их по-прежнему собирала ребячья вольница. И вот над нею словно бы прозвенел первый звонок. После армии им уже не бывать вместе. Где они — те, что отслужили? Их или нет, или все равно что нет, — оттеснены на задворки, рассыпаны на индивиды. Палево жить самому по себе, без прикрытия ватажьей сплотки!

Мать Хрыча, оберегавшая чистоту, в квартиру ребят не пустила. Только что это для Хрыча, если у него есть собственная крыша! Уходя из семьи, отец оставил ему кирпичный гараж. В мае, пусть и холодном, там неплохо. Хрыч соорудил обогрев, возле которого томилось и млело, укутанное в старые фуфайки, хмельное варево. В магазине был куплен ящик напитка, в бортпитании заказан торт такой величины, какой только могла обеспечить фирма. Тащили его вчетвером, на широком щите, под возбужденное улюлюканье пацанвы. Как-никак, Хрыч целый год зарабатывал себе на проводины.

Гараж принял всех, кто захотел прийти. Сначала накормили пацанов. Когда их гудение надоело, старшие выперли малышей и закрыли за ними дверь. И тогда Хрыч раскрыл свои кладовки...

Поздно вечером подростки снова стояли вокруг дома и, как пчелы вокруг матки, роились возле Сереги Чубкова. Хрыч, напоивший и накормивший ораву, не исчерпал еще порыва к дарению.

— Кому шапка нужна? — стянул он с головы новенький «петушок». — Давай налетай.

Подростки выжидательно молчали, соблюдая правило не высовываться.

— Гавор, может ты возьмешь? Последним ведь уходишь, вспоминать будешь.

— Мне свою до армии не сносить. Лучше продай мотоцикл, — отозвался Гавор.

— Мотоцикл — мой друг. Он ждать меня будет.

— Заржавеет, пока дождется...

Хрыч размышлял.

— Я возьму шапку, — подал голос мелковозрастный Матяш.

— Бери! — кинул ее через головы призывник.

Матяш на лету поймал «петушок», тут же натянул его и сразу преобразился.

— Ну что, продаешь мотоцикл? — напомнил Гавор.

— Матери надо сказать, — отозвался Хрыч.

Размягченный проводами Маркелов обнял бывшего одноклассника за плечи и наставительно процитировал:

Служи, Хрычик, ладно,
Письма пиши складно!

— Заладил! — загалдели подростки. — Обещал новое сочинить.

— А я сочиню! — подхватил Маркелов. — Сейчас и сочиню! — Он завел глаза к небу и вдруг загнусавил:

Хрычик в армию собрался,
От всего освобождался:
И разулся, и разделся —
На казенку загляделся.

— А чего, — произнес Серега Чубков, — мотоцикл я, и правда, продам.

Вероника Седова привела в сад кавалера. Павлуша Ройко засек это и передал новость на крышу, где брат Серега и Гавор заглядывали в голубятню. Серега сообщение оставил без внимания, а Гавор моментально высунулся над верхом крыши.

Парочка скрылась в малиннике. Но сверху, с крыши, их было видно как на ладони. Похоже, кавалер — не боксер, а какой-то новый. Тот, видать, кое-что понял. Этому тоже придется разъяснить.

— Э-эй! — закричал Гавор, вспугивая не голубей, а парочку в малиннике.

Первыми отозвались голуби. Они шумно и суматошно высыпали из оконец и стайкою собрались в небе. Ухажер Вероники оглянулся на крик и хлопанье крыльев, но сама она и головой не повела.

— А-а-а! — поддержал Гавора Павлуша, размахивая руками.

— Улю-лю-лю! — включился Хомя.

Голуби покружились над огородом и улетели. Мальчишки, возившиеся с мопедами у сарая под спуском, враз подняли головы, поглядели на орущих, на парочку в садике, которую только что без внимания пропустили мимо себя, все поняли и тоже включились в игру: оседлали мопеды, понеслись, тарахтя, вниз со склона, мимо сада Седовых, потом снова наверх. На ройковском огороде Павлуша стал колотить поленом по пустому тазу, Гавор громыхал крышками, Хомя улюлюкал и свистел. На крыши окрестных сараев повылазила галдящая ребятня. Взрослые попробовали урезонить орущих, но голоса их потонули в гвалте.

— Поехали лучше в город, — предложил Веронике кавалер.

— Кому мы там нужны? А здесь, видишь, какой успех! — насмешливо отозвалась она.

— Успех?.. — удивился парень. — С ума от него можно свихнуться.

— Глупость, конечно, — согласилась Вероника. — Но когда-нибудь она ведь должна кончиться.

— Глупость может и никогда не кончиться, — изрек парень и огляделся вокруг. Со всех сторон вопящие рожи, за калиткою угорело мечутся мопеды, взрослые с перекошенными лицами немо грозятся из-за заборов.

— Терпи. Я же терплю, — подбодрила Вероника.

— Может, ты к такому привыкла, — предположил парень.

— Привыкла? — переспросила Вероника. Глаза ее матово мерцали, как сливы из глубины ветвей.

— Ну, принято у вас так, — пояснил парень.

— У нас принято не сдаваться, — отрезала Вероника.

— Все бы этого хотели, — пробормотал парень и поднялся. — Ладно, я пошел. Хочешь, пойдем вместе.

Веронике ничего не оставалось, как пойти рядом с ним.

Мальчишки на крышах враз замолчали. На мопедах заглушили моторы. В возникшую тишину с ходу влетели разъяренные проклятия взрослых. Мальчишки на мопедах уважительно посторонились, пропуская уходящих. Пришлый парень и портовская девочка под множеством устремленных на них взглядов поднялись на вершину склона. Когда они уже были на самом верху и вот-вот должны были исчезнуть на горизонте, Гавор торжествующе свистнул, и вся садовая округа с ликованьем ему ответила.

Пока поднимались на горку, пока шли двором, пока огибали спортивную площадку, где Люлич с ребятами гоняли мяч, Вероника выступала рядом со своим кавалером. Но когда они, заслоненные третьим домом, укрылись от глаз двора, она понемногу стала отставать от спутника. Парень этого не замечал или делал вид, что не замечает. Когда подошли к трассе, он, не сбавляя хода, вступил на асфальт. Вероника застыла у края дороги. На той стороне парень, словно вспомнив, оглянулся, увидел, что спутница не собирается переходить дорогу, прощально улыбнулся и махнул рукой. Вероника ответила небрежным взмахом да так и осталась под защитой своего поселка, а парень вскочил в подошедший автобус.

7.

Письменный стол Саши Ядыкина прижат к окну, из которого видно трассу и лесопосадку, заслоняющую здание аэро-

вокзала. Нынешней весной Саша решил подловить тот момент, когда роща начнет зеленеть. Он наблюдал, как накапливались признаки весеннего возрождения: повлажнели и стали зеленее сосны, новая жизнь вкраплялась в ржавчину их подножий, зыбким ореолом окутывались тополя... Но в какой-то из дней Саша, наверно, отвлекся, а когда привычно взглянул в окно, то увидел, что превращение уже совершилось. Лиственницы, самые невзрачные среди зимних деревьев — тонкие их контуры заслонялись более могучими соснами, — сбились вдруг в плотные ряды и своими махровыми нежно-зелеными покрывалами перегородили весь лес. Из-за их вершин выглядывали долговязые сосны — будто смущенные женихи из-за узеньких плеч избранниц, когда впервые приходят к родителям невесты.

Саша глядел на вдруг погустевший лес и думал, что вот так же неприметно яркий горящий день переламывается в вечер, а из молодости прорастает старость.

Сашины сверстники не сидят теперь над книгой. Где-нибудь на просторе, в голубом и зеленом мире, транжирят без меры и удержу радости молодой жизни. Никто из них даже мысли такой, даже понятия не имеет, что радость можно равномерно распределить на весь век. А вот Саша про это думает. Он считает, нельзя все лучшее тратить в молодости, что-нибудь надо приберечь и на другие, не такие заманчивые годы. Интересно, правильно это или нет?

Саша постоянно задает себе вопросы и отвечать пытается, но не знает, правильно отвечает или нет. Вот ребята с пятого класса побросали учебники и чтением себя не отягощают, только он сидит над книгами дни напролет. А на первый взгляд, все они учатся: он в десятилетке, они в ПТУ, между ними вроде никакой разницы. Может, она появится тогда, когда они учебу закончат, а он будет продолжать? Но в чем тогда эта разница? В развитии что ли? Так она и сейчас есть, только никому не нужна. По-разному будут жить? А как по-разному? Вот будут у них профессии, отслужат они в армии, станут работать — и что? Начнут, как все мужики, пить водку и строить гаражи? А он? Сначала, конечно, будет долго учиться. Но когда учеба кончится, ему тоже придется работать. Что он будет делать?.. Гараж он, может, тоже построит. И выпьет, наверно, в охотку. Так что же получается: и у него и у них итоги одинаковые? Может, на разных уровнях, но одни? А радости у него какие? Может, он зря уклоняется от мальчишеских радостей? Так они и останутся неотрадованными? С книгами, в общем-то, не скучно и на простор не особо тянет. Позови его ребята, он бы еще подумал, идти или нет.

...А если бы он, как другие, забросил учебники с пятого класса, как бы сейчас себя чувствовал? Наверно, боялся бы будущего и матери бы стыдился, потому что она на него надеется. А ребята вот не боятся и не стыдятся. И до будущего им нет дела — хватает настоящего. А итог — он ведь никому не известен. Скука сегодня и радость завтра? Радость сегодня и скука завтра? Кто это знает наверняка? Он не очень-то уверен, что правильно рассуждает. Но колебаться уже поздно: он выбрал свою дорогу. А сверстники, не задумываясь, идут по своей. Там видно будет, кто прав. Самое главное, что будущего он не боится, он на него надеется.

У Ройков закончили строить летний душ: довольно объемный сарайчик с железной печуркой, двумя плоскими бачками на крыше и короткошеим рожком под потолком. Пока суд да дело, взгромоздили на подставку железные клетки с подросшими в квартире цыплятами, и Хомя стал нянькой пищащего хозяйства. Съездит часа на два порыбачить — и то, чтоб на обратном пути травы нащипать, — и сидит в огороде, будто нет на свете ничего интереснее, чем кролики, голуби, куры да Мухтар. Гавор с трудом уговорил Хомю зайти к Веронике в сад. И то Хомя согласился потому, что там торчал Тема, брат Вероники, с которым у него были какие-то дела.

...Перед седовской изгородью Хомя завяз, разглядывая забор. Гавор уже с той стороны калитки нетерпеливо обернулся, — дескать, давай поторапливайся. Но Хомя посмотрел на него рассеянно.

— Пошли, что ли! — рассердился Гавор. Так как Хомя снова промолчал, а Вероника уже смотрела на них из глубины сада, он потащился один, прикрывшись ухмылкой.

— Чего там? — спросил у Хоми заинтересованный Тема.

— Птичье яйцо разбитое...

— Где?

— Да вот, — Хомя поддел носком кроссовки пестренькую, почти слившуюся с землей скорлупку.

Ну и глаза у парня! Что животных касается — за версту разглядит. А Тема сколько ходил — не видел.

Хомя оглядел скворечник.

— Наверно, сорока вытянула, — предположил он. — На перекладинку села, головой — в дырку. Так она всю кладку переколотит. Птицы тут жить не будут. Ты чуток укороти палочку, Тема, чтоб она не могла усесться, — посоветовал он.

...Гавор приблизился к Веронике, сидевшей в малиннике на скамейке.

— Можно щенков поглядеть? — спросил он.

— Погляди, — кивнула она.

Конура стояла возле скамейки. Из нее торчала острая, измученная материнством собачья морда. Гавор присел на корточки и погладил собаку по голове. Кнопа подремывала, лениясь шевельнуться. Гавор запустил руку в конуру, взялся доставать и осматривать щенков. Кнопа открыла глаза, стала смотреть заинтересованно, но спокойно. Большую часть жизни она прожила бездомной бродяжкой и крепко усвоила, что зависит от каждого из людей, поэтому отношения с ними не осложняла. Когда же Гавор с одним из щенков уселся на скамейку рядом с Вероникой, Кнопа вылезла из конуры, встревоженно заскакала вокруг, поглядывая на детеныша. Гавор трепал щенка и разговаривал с Вероникой.

— Зачем вам столько щенков?

— Столько родилось...

— Куда девать будете?

— Может, заберет кто...

— Это шавки, кому они нужны?

— Они хорошенькие, — Вероника забрала щенка у Гавора. — Есть люди, которым такие собаки нравятся.

— Породистые нравятся.

— И просто симпатичные.

— Хочешь, я завезу их в деревню?

— Еще чего... Жалко... Может, выберут...

— А что их жалеть? Собак кругом полно.

— Людей тоже полно, а преданного человека попробуй найди.

Хомя с Темой так и завяз у забора. Но Гавору он больше не был нужен, Гавор осмелел:

— Преданный человек, по-твоему, — это какой? Который по следу как приклеенный ходит, что ли?

— Который не предаст, не изменит и не обманет!

— А-а. Ну, такого не в городе надо искать.

— Это почему?

— А кто там кому нужен? И вообще — если дружишь, преданность — само собой. У нас, пацанов, это первое дело.

— А ты знаешь, до каких пределов ты дружишь?

— А зачем знать?

— А затем, чтобы после тех пределов тоже не предавать.

Хомя с Темой пошли от забора к скамейке, — наверно, чтобы посмотреть на щенков. Вдруг они сорвались с места и побежали — мимо скамейки, мимо малинника, через чужой огород, не разбирая грядок.

Увлеченный разговором, Гавор не сразу услышал позади себя гомон. Но, уловив его, он тоже вскочил, оглянулся и

увидел, что далеко за огородами, за ракитами, укрывавшими Кукуевскую дорогу, мелькают трое конников. Вслед за ними на дорогу вылетали орущие портовские ребятишки. Похоже, весь порт преследовал верховых.

Гавор, прервав важный для него разговор на полуслове, перелетел через скамейку, продрался сквозь малинник и по огородам помчался наперерез всадникам. Он перегнал приотставшего Тему и вместе с Хомей, переваливая через проволочные и деревянные заграждения, бежал не снижая хода в надежде настигнуть конных.

Вероника со щенком в руках встала на скамейку и оттуда наблюдала за происходящим.

Конники время от времени появлялись в просветах между деревьями. У них на хвосте висел Люлич. Метрах в тридцати от него бежали ребята из его команды, а еще дальше с криками тянулась портовская мелкота. Хомя и Гавор, сопровождаемые лаем собак и воплями разгневанных хозяев, неслись огородами.

Доскакав до перекрестка, всадники по узкой поперечной тропе вылетели в открытое поле и, не сдерживаемые больше ничем, помчались через бычник в Игнатьево. Люлич выскочил на поле следом за ними. Понимая, что всадников теперь не достать, послал им в спину замысловатое ругательство. На щеке его рдел свежий рубец от плети.

К Люличу подбежали Сыс, Молчун и Витяга. Потом присоединились Хомя и Гавор.

— Ничего, мы им сделаем! — погрозил Люлич вслед игнатьевцам. — Забудут, как нападать!

Несколько вечеров пустовала лавочка напротив второго дома. Ватага Люлича гоняла на моторах по полевым дорогам между Хомутиной и Симонихой. Озерная долина была им знакома, как собственный огород. Ребята рыбачили во всех водоемах от Амура и до хребта. И все-таки в запутанной череде лесных островков и полей было на Амуре несколько потайных уголков, где игнатьевские конюхи прятали лошадей. Портовцы мотались между полями, высматривая табуны, или, спрятавшись за деревьями, наблюдали за конюхами, чтобы узнать, откуда те пригоняют свежих коней. И наконец засекли одно место.

Светлым майским вечером Люлич, Сыс, Хомя и Гавор, сказав дома, что едут с ночевкой на рыбалку, уговорили знакомого частника, подбросить их за Игнатьево. Высадившись на безопасном расстоянии от деревни, они ступили в туманный сумрак полей, над которыми растекалось сизой молочности небо.

Через несколько часов, в полуночной тьме, они уже верхом обходили Игнатьево с тыла, прижимаясь ближе к Амуру. Впереди белым маревом темноту разрежал аэропорт, сбоку редкими фонарями подавало о себе знак Игнатьево, прямо по пути резбежался огнями Кукуй — одноэтажный поселок аэропорта, обживший крутые взлобья пади.

Конники перешли Симониху вброд, по дальнему, более глухому крутояру пересекли поселок и цепочкою въехали в лесистый рукав, выводивший в поля перед аэропортом.

Навстречу им в тот же рукав вывернула с поля конная повозка, рядом с которой бежал волчьего вида пес. Верховые прижались к лесу и стали обходить не вовремя подвернувшуюся упряжку. В телеге восседал мужик в каком-то непонятном одеянии, в теплой шапке с задранными ушами. Позади него горбом возвышалась живая свинья. Задрав морду, она самозабвенно жевала. Собака не обратила на всадников никакого внимания. Но мужик вперился острыми глазками в темные силуэты.

— Юрик, а Юрик? — окликнул он одну из фигур.

— Чего тебе, Дятел? — буркнул Люлич, недовольный, что его узнали.

— Не наших ли вы лошадок свели? — притормозив, спросил Дятел.

— А ты не у нас чушку украл? — вопросом ответил Люлич.

— Свинка моя, — охотно объяснил мужик. — У меня и документы имеются.

— А кони — наши!

— Ох ты, господи, — как же скотникам-то без коней?

— А ты своего отдай. Зря он у тебя жирует.

— Ишь ты, отдай! — проворчал мужичок, дернув вожжи.— Сам чужое прихватил, а мне говоришь: свое отдай. Советчики на чужое добро!

Средь бела дня в авиагородок прискакали два всадника — взрослые мужики. Они спрашивали о двух вороных и двух буланых конях.

— Кого ищут? — порхало с балкона на балкон.

— Коней, говорят, потеряли. Двух вороных и еще каких-то.

— Коней? Да тут постоянно скачут! А вороные они или какие, кто же их разберет.

— В совхозе за лошадьми не смотрят. Распустили их, вот пацаны и гоняют.

— Кто гоняет-то?

— Все гоняют! Пастухи приучили. Попаси час да попаси

два, а сами по кустам дремлют. Вот и привили охотку.

— Нет, в последнее время коней у поселка не видать, поутихло вроде.

— Мальчишек надо спросить: они знают. Поприжать, так скажут.

Обветренные жилистые мужики водили глазами по балконам, слушали гомон.

— Ладно, — оборвали они наконец пустые речи. — Если поймаем ваших ребят на конях — ноги им выкрутим! — И ускакали, вызвав на балконах долгие толки.

Если Хомю не разбудить, он проспит целый день, поэтому мать начинает будить его первым. В последние дни, к ее радости, он подымается легко, будто на рыбалку. Пока брат и сестра лениво потягиваются, он уже накладывает в тарелку сваренный матерью кулеш, быстро его уминает и скрывается за дверью.

Мать, озабоченная тем, чтобы скорей вытолкать всех из дому и самой не опоздать на работу, не замечала этого. Но вот переодеваясь в спальне, она по привычке поглядела в окно, и тут ей показалось, что между сараями в огороде мелькнул Серега. «И чего ему там с раннего утра? Неужели к голубям побежал? Хоть бы на автобус не опоздал!» В следующую минуту ее отвлекли другие заботы, о Сереге она вспомнила уже на улице, когда бежала на работу. Ее будто укололо недоброе предчувствие, но раздумывать было некогда: ровно в семь она должна открыть почту.

...В это время Хомя цеплял на багажник велосипеда мешок с сеном, которое надергал из убавившейся за зиму копешки. Он уже несколько дней заимствовал отсюда, и копешка заметно осела. Правда, родители этого пока не заметили. Хомя успокаивал себя тем, что кроликам хватит зелени, которую он нащипывает по вечерам в сырой низинке, а через неделю-другую трава подымется и можно будет косить сено.

На руль он навесил сумку с зерном, также позаимствованным из кроличьих запасов. Груженый велосипед вывел на зады поселка, перевел через неглубокую падь и, запрыгнув на сиденье, покатил полем.

У Ключевой пади, в лесочке над спуском в речную долину, в тесном загоне они спрятали уведенных из Игнатьево лошадей. Лесок, прикрытый со стороны пастбищ еще двумя перелесками, был последней границей длинного языка пустошей, тянувшихся сюда от самой аэропортовской трассы. Пастухи не любили эту часть луговины из-за крутых обрывов, густых перелесков, откуда не выдернуть коров, из-за малосъедобных бу-

рьянов. Стада подымались сюда только в самую сухоту, когда трава кругом совсем выгорала. А ребята эти места любили — по тем же причинам, по которым не любили пастухи. Кроме прочего, здесь попадалась трава, которую с удовольствием ели лошади. В пору весенней бескормицы, а также зимой ребята нарывали этой травы целые кучи.

Для четверки коней привезенных Хомей кормов, конечно, не хватило, и он взялся подчищать окрестные бурьяны, а где получалось, подкашивал свежую траву. Воронок Петька, хоть и оттеснил от еды остальных коней и слопал львиную долю посыпки, сигналил о неутоленном аппетите. Этот конь был не то, чтобы уж чересчур строптивый, а какой-то дурной и сквалыжный. Он многих мальчишек поскидал на землю, и не всякий осмеливался на него садиться. Однако бегал Петька отменно. Отловил его Люлич. Второй воронок — такой же сильный и скороходный, как Петька, но норовом поровнее, — был Сысин. Гавор облюбовал коня, который отличался безразличием и ленью. А себе Хомя оставил тихую кобылку светлой масти. Она стояла крайней в загоне, и Хомя кормил ее отдельно.

В загоне лошади непрерывно едят — что им еще делать? Хомя уже два мешка корма рассыпал, а им хоть бы что. Он взнуздал и вывел из загона гаворовскую лошадку. На ней первой он заходил в расселину и спускался в падь. Всех лошадей, кроме Петьки, Хомя поил внизу. Для Петьки таскал воду наверх.

Лошадь сходила вниз боком, опустив морду до земли, будто нащупывая дорогу. Она трусила и без нужды осторожничала. А так скорее всего оступиться и загреметь вниз. Воронок Сыса, не думая об опасности, бежал к воде с жадною устремленностью. Хомина кобылка по ходу успевала пастись — жевала и замирала, забывая, зачем и куда идет.

Спуск был не полый, а со взметами и провалами. Над водою он вспучивался шишаком, обходить его надо было осторожно, заходя в дугообразную канавку — трещину между двумя соседними склонами. Здесь Хомя одной рукой натягивал повод, а другой цеплялся за выступ соседнего склона: если лошадь сдуру потянет, хотя на камнях можно зависнуть. Внизу под скалой была намытая водою площадка. Конь умещался на ней и пил, не заходя в ледяную воду. А по противоположной крутой канавке, с такими же высокими стенками, выбирался наверх.

Затея с водопоем в ручье была, конечно, рискованной, как и все связанное с Ключевой падью. Но других, менее опасных заходов в падь поблизости не было, а таскать воду наверх и тяжело, и неинтересно.

...Когда Хомя в третий раз поднимался из пади, он увидел, что наверху его ожидают: высоко торчали головы, скорее всего верховых. Хоме захотелось тут же соскочить с кобылки и метнуться в сторону. Нет, нельзя. Тогда эти вовсе разозлятся, все разорят и разграбят, а возле загона кое-что припрятано. Хорошо бы было под рукой чем защититься. Но ничего подходящего рядом не было. Сверху на него глядели два мрачных пастуха и два конюха-подростка. Вроде знакомые. Хомя выехал из расселины и встал перед гостями. Пастухи узнали его, и лица их смягчились. Хомя увидел, что загон уже разорен и табунок ходит позади всадников.

— Где дружки? — сурово спросил желтоволосый пастух.

— Учатся, — понуро ответил Хомя.

— А ты, значит, с конями водишься? Поишь, кормишь, бока гладишь? Всех вниз водил?

— Всех, кроме Петьки.

— Не жалко, если ноги им поломаешь, а себе шею свернешь?

Хомя промолчал.

— Слазь с кобылы, — распорядился желтоволосый.

Хомя послушно сполз вниз. Конюхи отогнали кобылку в табун.

— Жалко, дружков твоих нету! — сказал желтоволосый. — За коней, знаешь, как бьют? Пока шкура не слезет! В другой раз попадетесь, так и будет. Приложимся, что и мама родная не узнает. Люличу это передай. Пускай заранее почесывается. Тебя тоже не пожалеем, хоть ты нам и приятель. Не маленькие уже, чтобы не понимать. Охота кататься — приди на стадо, в седло садись, помогай. А зазря лошадей нечего гонять.

Пастухи угнали табун. Хорошо еще, что седел не нашли и уздечку не взяли. И еще хорошо, что это мужики были. Они пацанов не бьют, только грозятся.

...Дома мать потихоньку сказала Хоме, что звонили из училища, спрашивали, почему он не ходит на занятия.

— Завтра пойду! — пообещал Хомя.

Мать больше ни о чем не спросила, хотя знала уже и о выбранной копешке и о мешке с конской упряжью, который Павлуша нечаянно опрокинул в сарае. Только вздохнула, глядя на сына.

8.

Вероника и Саша Ядыкин встретились в автобусе на пути из города — стояли рядом на задней площадке и разговорились.

— Как жизнь? — спросил Саша.
— Как всегда... А у тебя?
— У меня под напряжением.
— Из-за экзаменов, что ли?.. Не трясись. Я уже сколько раз сдавала — и ничего, жива.
— Да я, в общем, не боюсь. Только такое чувство, будто лихорадка мотает.
— У меня так было. А потом куда все и подевалось. И у тебя пройдет.
— Наверно, — неуверенно согласился Саша.

Некоторое время они молча глядели на текущее из-под колес автобуса полотно дороги, на зелень, бегущую по сторонам, а потом Вероника сказала:

— У тебя с этого лета начинаются большие, до основания, перемены в жизни.

Саша вспомнил про свои планы на будущее. Он, конечно, уедет. И, если поступит, долго будет учиться, жить вдали от дома.

— Нет, — сказал он вслух. — Не хочу до основания. Пусть что-нибудь останется.

— Да? — рассеянно спросила Вероника. — А я вот все начисто переменю.

— Замуж, что ли, выйдешь?

— При чем тут замуж?

— Если девчонка говорит, что она все переменит, — значит, замуж собирается.

— Разве по-другому нельзя, что ли?

— Не знаю. Наверно, можно.

— Значит, у меня все будет по-другому.

— А как?

— Пока не знаю, но будет. Представляешь, как бывает? Тебя крепко схватили за руки и думают: все, ты никуда не денешься. Ты, конечно, соглашаешься, а потом делаешь крутой рывок — и на свободе! У меня так будет.

На Сашином лице отчетливо проступило выраженье какой-то незавершенности: это оттого, что в голове полно мыслей, а какие главные — он не знает.

— Не советую делать рывок, — сказал он девочке. — Ну, чего ты добьешься? Все равно придется замуж выходить. Этого не обойти до рывка или после. А если вообще откажешься, то почувствуешь себя вытолкнутой из цепи. Ты думаешь, у нас много возможностей? Если хочешь знать, почти все в жизни предопределено. Остаются так, варианты. Только великий человек или уж большой негодяй могут вырваться из предопределенности. А если это обыкновенный человек, то он при этом

погибает или страдает. Ведь назад не воротишься, там уже цепь сомкнулась.

— Какая цепь?

— Биологическая.

— Тогда зачем жить и зачем рождаться? — спросила Вероника.

— Круговорот жизни. Мы рождаемся, чтобы жизнь была в настоящее время, а живем, чтобы она сохранилась в будущем. Но это ничего, что у нас вроде мало возможностей. Все-таки каждому их не исчерпать. Например, любовь принадлежит нам целиком... Тут все от человека зависит. Ты вот любила когда-нибудь?

— Наверно, нет, — призналась Вероника. — Когда любят, не могут терять. А я теряю и ни разу об этом не пожалела.

— Но ты хотела бы любить?

— Не знаю. Может быть, потом когда-нибудь, а сейчас мне и так неплохо.

— Говорят, что человек живет лишь когда любит.

— А вот и нет! Человек живет, когда делает что ему нравится. Я, например, когда прихожу на пляж, — живу. А на скучном уроке — как во сне.

— Это ты про удовольствие говоришь, любовь совсем не удовольствие.

— Да? Зачем в таком разе она нужна?.. И почему у тебя вообще такие мысли? Я думала, ты просто учишься, а ты вон что изобретаешь. Это, конечно, твое дело, но мне твои рассуждения не нравятся...

Никогда нельзя угадать, из-за чего взбесится мать. Гавор мирно сидел в зале и раскладывал на кучки цветную проволоку, собираясь сплести браслет. Увидев несущуюся к нему мать, он прикрыл эти аккуратно рассортированные пучки. Но мать, по видимости, разозлило не пустое занятие сына, а что-то другое. В руках она держала его брюки, подняв их, будто собиралась в него метнуть. Гавор угрожающе подобрался. Мать и в самом деле всплеснула брюками, но его не задела.

— Выходные брюки продрал! Трое штанов за один месяц! Мы с отцом только и работаем на твоих коней, на твои рыбалки да мотоциклы. Ни учебы с тебя, ни работы. Одни только траты. Целой семьи стоишь, а прибытку с тебя — только слезы!

В незабудковых глазах матери трепетал слепой пламень. В таких же глазах сына вспыхивали колючие ледяные осколки.

— А то у тебя, бедной, денег нет за штаны заплатить? — сказал сын.

— Не твое дело мои деньги считать! — завопила мать. — Ты их зарабатывал?

— Зарабатывай на тебя! Все равно над каждой копейкой трясешься!

— В этой дыре поганой я жизнь свою убила. И не позволю себя разорить. Думаешь, всю жизнь на тебя буду тянуться? Да ходи ты в дранье, если беречь не умеешь!

И она запустила в сына брюками, угодив ему прямо в лицо.

Он отбросил штаны, встал, пересек комнату, снял с полки любимые матерью часы и грохнул их об пол. Черная глянцевая панель разлетелась, колесики выпрыгнули из ячеек, винт завода пробил в половице вмятину.

Мать будто парализовало. Она не верила своим глазам, сознанье ее тоже отказалось это принять, она молчала и только смотрела на сына. А он побледнел до синевы, и руки его непроизвольно дергались — так корежила и сотрясала его собственная ярость. Постояв минуту, он выскочил в беспамятстве за дверь и долго еще ничего не помнил, не чувствовал, не ощущал, шагая без дороги куда глаза глядят.

...В себя Гавор пришел уже в сумерках. Опустошенный, раздерганный и одинокий, он оказался на озере, на котором чаще всего рыбачил с ребятами. Отыскал старую лежку и без сил упал на нее. Но и во сне его еще била судорога.

На рассвете он открыл глаза и сел на подстилке. Белесый туман накрывал его с головой. Было знобко. Гавор поднялся и по сизому волоку пошел на вершину сопки. Чувства его тоже были в дымной и текучей неразберихе.

Сверху он поглядел на землю. Туман поглотил озеро и берега, тонкой пленкой застлал поля. Но горизонт был чист и его уже прорезала красная полоска восходящего солнца.

Гавор почувствовал, что на смену вчерашней злости в нем подымается упрямое нежелание простить матери. Домой идти не хотелось до отвращения. «Поживу где-нибудь здесь», — решил он.

Раз он собирается здесь оставаться, ему нужно хоть какое-то жилье, чтобы каждое утро туман не обволакивал постель. С этой мыслью Гавор перевалил сопку и двинулся к аэропорту. Солнце уже вовсю слизывало туман.

Вернувшись в поселок после занятий, он разыскал во дворе младшего брата и наказал ему вынести ключ от гаража, где хранилось его походное снаряжение. Затем обошел с рюкзаком продуктовые магазины. Выпросил у Хоми палатку и немного картошки, Люлич и Сыс притащили котелок и топор, Молчун — старое одеяло, а Витяга — кое-что из домашней провизии. Приятели на мотоциклах перекинули все это на озеро, пока

Гавор пылил туда на велосипеде. К его приезду они натянули палатку, приготовили еду. Просидев до позднего вечера у костра и умолотив два котелка варева, ребята пожелали новоселу крепкого сна, сели на свои моторы и укатили.

После их отъезда его посетил Ночной Дятел с неизменным своим волкодавом.

— Я спать ложусь, дед, — упредил его Гавор, зная, что на разговоры со стариком не хватит и ночи.

— А чайку со мной не попьешь? — спросил Дятел. — Я сальца с хлебушком прихватил...

— Сало, небось, старое, — подначил Гавор.

— Ты что, Игорек, свежее! Вечером только из погреба его поднял.

— Не в том дело. Какую зиму, спрашиваю, его прячешь?

— Тю! В погребе что ему сделается?

— Да пожелтеет оно, как снег на конском дворе!

— Ты глянь, глянь, — где оно желтое? Как сейчас посолили!

— Да ладно, дед. Чего ты запалился? Я просто так сказал...

— Ну, тогда дело другое, тогда давай чаек варить. Без него — ночь не подружка.

— Я спать лягу — и все. А ты как хочешь... Откуда узнал, что я тут живу?

— Слухом земля полнится.

— Да брось! Слышал, небось, как ребята уезжали, а потом костер заметил...

— Надолго тут поселился?

— Как пойдет.

Дятел заглянул в котелок.

— Что у тебя тут сварено?

— Каша, чтоб с утра не возиться.

— Рыбной консервой заправил. За ночь дух нехороший даст. Я к утру тебе свежую заварю, а эту пусть собачка съест.

Он вытряхнул варево на траву и вручил Гавору опорожненный котелок. Тот, хоть и неохотно, но к озеру все-таки сходил, посудину вымыл и зачерпнул воды.

— Эх, Игорек! Расчудесно жить тебе на свежем воздухе будет! Вся природа с тобой, — сказал Дятел.

— По себе, Дятел, судишь, — возразил Гавор. — Расчудесно таким вольным птицам, как ты. Гуляешь себе — ни забот, ни хлопот.

— Тут ты, Игорек, неправ! — остановил его Дятел. — Заботы они никогда не отлипают. Считай: огород на мне, покос на мне, конь на мне, избенка — там поднять, там подпереть,

там подлатать, — тоже на мне, скотина на мне. Другому молодому не сразу поднять, а я целую жизнь ношу, не скидаю!

— Зато, дед, начальство тобой не командует.

— То правда! — согласился Дятел. — Нынче я человск непринужденный. Сам собой управляюсь. Что от меня отойдет, то же ко мне и вернется. Сам наказ себе даю, сам исполняю, саможды пользу труда своего потребляю. Но завидовать мне погоди, не завидуй. Не пустяковое дело — собой управлять. Чтоб кудась не унесло, гужом натянуть себя надо. Вот ты, к примеру, что завтра делать собираешься?

Гавор призадумался.

— Ну, встану, позавтракаю, в училище съезжу... потом тут буду, ребята приедут...

— А ежели угреешься ты в постели, встать не захочешь, а? А вставши увидишь, что солнышко высоко, что нет у тебя времени костер разводить, кашу согреть — так холодное и похватаешь. Желудок радости не познает — на душу тоску наведет. Душу защемит — занятье из рук повалится. Тут ребята не приедут, я не прибегу... Да вся твоя самость наперекос пойдет, вольная жизнь мучением обернется... Управление, брат, твердости требует. Утром солнышко показалось — и ты подымайся. Птички, козявки разные за работу взялись — и ты принимайся. Природа вся чередою живет и нас к тому наставляет.

— Ну, дед, научил! — усмехнулся Гавор. — Без тебя, что ль, не знаю, что утром вставать надо, а ночью ложиться?

— Так я же объясняю, как вставать надо. Или еще вот за науку прими. Человек то большим себя чувствует, то маленьким. Отчего это бывает? Я пастушил когда, от зари до зари с коня не сходил. Глянешь окрест — сколько на каждую сторону простора! Ну и душа, как водная гладь или зеркало, простор этот отражает. Кажется тогда, каково вокруг, таков и ты. Небо высокое — и ты высокий. Поле великое — и ты великий. Белому свету избыва не видать — и тебе самому конца-краю не будет. А зимой, когда дома сидишь и в окно смотришь, совсем другое представленье о себе имеешь... Что там через окно разглядеть можно? Ну забор, ну сарай, ну край улицы. Не мир, а щель — и ты в ней таракан ужатый. Ты, Игорек, как рассветет, приглядись — большой мир вокруг увидишь. Ты его через себя пропускай, большим человеком себя почувствуешь.

— Ты, дед, что — уши нашел, лапшу вешать? — спросил Гавор. — Чего ты к нам вообще лезешь, чего тебе от нас надо?

Дятел долго молчал, потом ответил:

— По нынешнему моему положению вы первые для меня товарищи.

— Да ты-то нам на что?

— И я когдась вам на что. Уж больно вы, ребятки, сами да сами. Нет с вами такого, чтобы вас уразумить смог.

— А ты уразумляешь? — спросил Гавор.

— Уразумляю когда ни что. С тобою вот целый вечер стараюсь.

— Уж больно ты, дед, добрый, когда не дома. В деревне к тебе приди, так и на порог не пустишь.

— Домом, сынок, хозяйка моя управляет, — признался Дятел.

— Ты, дед, на два лица, как монета: с одной стороны орел, а с другой — решка. И все такие, уразумлять кто берется... Ну ладно, я спать пошел. Не забудь кашу заварить, как обещал.

Перед входом в палатку Гавор обернулся. Дятел сидел, низко пригнувшись к огню. Кроме костра и деда, в черноте ночи ничего уже не проглядывало.

Люсьена догнала во дворе Веронику:

— Знаешь, что Игорь из дому ушел и живет на озере?

— Слышала, — осторожно ответила Вероника.

— Мы с отцом туда ездили, уговаривали его, только он не хочет нас слушать. — Несмотря на семейные неприятности, мать Игоря была как всегда нарядно одета и безукоризненно причесана. Лишь в синих глазах — испуг и какая-то морока.-— Друзья звали, младший брат звал. Он никого не слушает. А в милицию обращаться не хочу. Игорь мне этого не простит.-- Глаза женщины дрогнули от внутреннего напряжения. — Я знаю, тебя Игорь послушает. Помоги нам. Мы отвезем тебя туда. А ты поговори с ним, упроси, пусть вернется домой. Скажи ему, что я простила. Пусть он тоже простит.

Заметив в лице Вероники непонимание и инстинктивное сопротивление, она поторопилась объяснить:

— Эти часы, что он разбил, — это же вещь... Все годами копится. Без этого нельзя. Он должен понимать: свое гнездо не разоряют. Ладно, я куплю другие часы. Но он пускай возвращается. Съезди к нему, Вероника, я очень прошу.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я не поеду, — вежливо отказала Вероника. — Если Игорь ушел, — значит, ему так нужно.

— Но он же не дома живет!

— Ну и что? А кто хочет дома жить? Мы бы все ушли, если б знали куда.

Люсьена так и замерла с ужасом в глазах. Вероника, уже мягче, посоветовала:

— Вы тоже к нему лучше не ездите. Пусть один поживет. Не бойтесь, он вернется. Покормит комаров — и вернется. Извините, я тороплюсь.

Люсьена продолжала стоять, потрясенная. Первый раз ей пришло в голову, что если и ее сын такой же жесткий, как эта девочка, то ей, матери, с ним никогда ни за что не договориться.

...Совету Вероники она все же последовала и на озеро к сыну больше не ездила.

На открытую полевую закраину озера въехал красный «Запорожец». Двое мужиков выволокли из него резиновый баллон, надули, спустили в воду, уселись и сразу же погребли к лесному берегу, где в тальниках сидел с удочками Гавор.

— Здорово, хозяин, — поздоровались они, притормаживая. — Так и живешь тут?

— Здравствуйте. Так и живу, — отозвался Гавор.

— Рыбу всю вытянул?

— Везучему на жареху достанет.

— Везучие — это мы. А что ловится?

— Так, мелочь.

— Карась не цеплял?

— Нет еще.

— Наш будет!

— Как сказать...

— А вот увидишь! — засмеялись мужики, отплывая.

Гавор проводил их взглядом: резиновая лодка двигалась по воде, как по тверди, нисколько не погружаясь.

Длинный луч предзакатного солнца коснулся поверхности озера. Вода, куда он нырнул, превратилась в расплавленную лаву. А вокруг засияли радужные отсветы. Перед уходом день будто зависает над землей в золотой недвижности. Все живое расслабляется в отдыхе и от этого словно тучнеет, становится массивнее. Птицы, которые по утрам деловито прочиркивают воздух, перед закатом словно плывут в нем. Стрекозы, раскинув недвижные крылья, висят до бесконечности, ни на что не садясь. Комар и тот ленится укусить, распластанно и омертвело качается над кончиком носа. Зачарованная покоем рыба, как автомат, заглатывает наживку. А человека солнце прогревает до душевных глубин.

Неужели и у природы и человека все так одинаково? — думает Гавор. Зачем же тогда люди отгораживаются от нее? Чтобы хвастаться, что все придумали сами? А если при этом

сделают что-то не так, скажут, что виновата природа. На природу очень легко все свалить. А если не на природу, то на что? Вот для меня, например, кто чаще всего виноватым бывает? Конечно, мать! Она виновата, если у меня что-нибудь не выходит, если я поссорился с ребятами или просто не в настроении. За что же я ее виню? За то, наверно, что от нее произошел и ее повторяю. Другие ребята за тоже самое не любят своих родителей... А чтобы не повторять, надо бы родиться от того, кто совсем на тебя не похож, — ну, например, от лошади, от волка или от слона. А такое невозможно. Значит, мы будем повторять и будем за это не любить? Несправедливо получается. А если ни на кого не валить, кто же тогда будет виноват? Сам? Ну уж нет, с чего это брать вину на себя? Никто из ребят ведь не берет...

Очнувшись от своих мыслей, Гавор повел взглядом по зеленой кайме берега, по упругой глади воды, по забрызганным солнечными бликами деревьям. Природа жила во всю свою силу. И ей было, похоже, наплевать, виноватого она не ищет. Он сам найдется. Какой-нибудь придурок, которому надо за все отвечать. Нет уж, всеобщим придурком Гавор быть не желает. Да если бы кто узнал, до чего он здесь додумался, его бы всем скопом затюкали и затравили, как облезлого пса.

(Молодость она надежно оберегает от саморазрушительных мыслей. И кто его знает, в каком возрасте настигает людей чувство непроходящей вины и настигает ли вообще?)

Время от времени клевало. Гавор снимал с крючка мелкую рыбешку, чаще всего гольяна, и кидал в котелок. Скоро наберется на уху, и он разведет костер. Пацаны приедут, а уха уже будет готова. Ребята, конечно, сачкуют. Сколько он тут живет, ни разу еще не рыбачили и на ночь не оставались. Приедут, поедят ухи, наваляются у костра и загудят к поселку. Он вроде хозяин дома, а они — его гости. Такого еще никогда не бывало. В поселке они то у Микитовых в гараже, то у Ройков в огороде, то на лавочке, то в подвале. И вечно он к кому-нибудь примыкает. А здесь он главный. Ребята ведь к нему ездят. Ни одного вечера без него не обходятся. Почему? А потому что он на своем устоял. Всегда ведь интересно поглазеть на того, кто на тебя не похож, и вдвойне интересно, если знаешь, что вчера он был такой же, как ты. И еще он почувствовал, что уважение — все равно что охранная грамота. Его по полдня и дольше на озере не бывает, но палатку его ни разу не разоряли и тайничков не раскапывали. А здесь ведь не только портовские, здесь и игнатьевские шарятся. Выходит, признают его право на жительство.

В поселке, бывало, он в одиночестве с тоски помирал. Тут,

на озере, одиночество его почему-то не мучает. Ребята приедут, уедут, а ему хоть бы что, и без них вроде нормально. Каким злющим он сюда прибежал! И куда только все ушло? Чтобы его теперь разозлить, надо, наверно, здорово потрудиться. Ясно, он одичал маленько, подзарос и рубашка на нем неглаженая, зато на душе спокойно и ясно. Дом он вспоминает, но мысли о нем уже не обжигают злостью. Может, пора возвращаться?.. Ладно, поглядим. Во всяком случае, не сегодня.

9.

Снова ожила скамейка напротив второго дома. Кто их поймет, эти ребячьи приливы и отливы? То по нескольку вечеров никого нет, а то каждый день до глубокой ночи сидят. Шума от этих сидений немного: разговоры до окон не долетают, магнитофоны ребята приглушают. Беспокойство в самом скоплении, которое в любой момент может оборотиться чем-то непредсказуемым. Вон их сколько на крохотном пятачке: плотно на лавочке, да еще на мотоциклах, поставленных тут же.

Теплой июньской ночью все, что есть на земле, глубоко и усиленно дышит. Вбирают воздух тополиные листья, размеренно потеет пашня, тихо и легко, как ребенок во сне, дышит вода, дыханием трепещут размытые в очертаниях звезды, ароматы цветущих полян роняют бегущие мимо ветерки. Запахи наливающегося соками лета бередят сидящих под тополями ребят.

— Эх, съездить бы куда! — мечтательно проговорил Гавор. После житья на озере ему не сидится в поселке. — Поехать бы на мотоциклах за хребет... В Натальино, например, под сосны, или в Белые горы под Новопетровку... поглядеть, откуда начинаются ключи...

— Мотоциклы-то не у всех, — подал голос Хомя. Он еще только сказал матери, чтобы на его деньги от летней практики она не рассчитывала: он будет копить на мотоцикл.

— На мопедах можно, — уступил Гавор. — Но тогда с ночевой.

— Насиделся на озере — ноги размять охота? — съехидничал Маркелов. Лично его походы не занимали. Он водился с ребятами только во дворе.

Остальные вообще помалкивали, — значит, идея Гавора не прошла.

Он понял: пацанов ему не поднять. Вернувшись с озера, он снова стал для них тем же, что был всегда: одним из толпы.

— Тогда я с Дятлом буду сено косить, — решил Гавор.

— О! Сено — это вещь! — встрепенулся Люлич. — К черту Дятла. — Пусть сам косит. Сено нам нужно. Если у нас зимой будет корм, мы коней в огородах поставим.

Эта идея побежала по скамейке, как искра по бикфордову шнуру, и, похоже, лавочка начала накаляться. Не возражал даже Сыс, а он никакую работу терпеть не мог.

— Кроме Хоми, никто косить не умеет, — напомнил Витяга.

— Что, научиться нельзя? Хомя же и научит! — рассудил Люлич.

— А где косить будем? — поинтересовался будущий учитель, знавший, что сенокосы нарасхват.

— Поездим, поищем и найдем, — постановил Люлич.

— Мы копешку поставим, а ее уведут, — охладил его многоопытный Хомя.

— Поставим там, откуда не уведут, — пообещал Люлич.— И сразу свозить будем. Тележку к мотоциклу прицепим... У Молчуна в сарае складем. Все равно он у них пустует.

Гавор, дожидавшийся пока идея утрясется, вставил свое слово:

— Дятел нам не чужой. Дело, что ли, от него отрекаться?

— Ладно, — согласился Люлич. — Денек на него поишачим, а потом шабаш — только на себя.

...Во двор вошла Вероника и розовым облачком заскользила вдоль стены. Лавочка проводила ее взглядами до самого подъезда, а там — через лестничное окно — до дверей квартиры.

— «Любовь свободна, век кочует», — съязвил Маркелов.

— Всегда так: один человек нравится сразу всем, — философски изрек Ядыкин.

— Кому это всем? — вскинулся Люлич. — Гавор вот млеет, а больше, по-моему, никто.

— Не млеешь, да? Вот за это я не поручусь! — холодно отозвался Гавор.

— У тебя доказательства или только намеки?

— Я сказал, что не поручусь. Ты заводишься, как ее увидишь!

— За ней все наши девчонки в город потянулись!

— Тебе-то какое дело?

— А не хочу, чтоб всякие по двору шарашились.

— Это правда, — вклинился Маркелов, — зря мы своих девчонок чужим парням отдаем. Нам-то за кем ухаживать?

— Хм, ухаживать! — фыркнул Люлич. — Как ты, что ли, с Ломовой — в обнимку ходить?

— Да хоть и в обнимку, — огрызнулся Маркелов.

Лавочка захихикала. Только Сыс презрительно сказал:

— Что, парни, кроме как о девчонках, говорить не о чем? Пусть они в городе все замуж повыходят, горевать не будем.

Лавочка притихла. Магнитофон в руках Молчуна придавленно всхлипывал.

Саша Ядыкин, утомленный выпускными экзаменами, притащился к Хоме и предложил куда-нибудь съездить. У того было множество дел по хозяйству, но, поглядев на Сашу, он согласился прогуляться на велосипедах.

По грунтовой дороге, какое-то время параллельной автомобильной трассе, а затем отворачивающей в поля, они выехали из поселка. Хомя вез на багажнике сумку с обедом — хлебом, зеленым луком и редиской. Там же был моток прочной веревки.

У пастушьей будки, прятавшейся в тени леска, Хомя съехал на пастбище, уже объеденное скотом и отдыхавшее в ожидании хороших дождей. Он гнал велосипед к дамбе, по верху которой тянулся мост на ту сторону пади. Из-за Хоминой спины Саша видел только ослепительно-синее небо и протоптанную луговину.

Подняв руку, Хомя поприветствовал пастухов, гнавших стадо с водопоя, и съехал вниз, на дно лога, пружинисто потряхивая на колдобинах. Саша пытался скопировать этот уверенный маневр, но получалось у него плохо.

Сколько возможно, они катили на велосипедах, виляя между кустами. Потом повели их в руках. Кустарник делался все гуще. Над ним стали выступать большие деревья. Саша сообразил, что они пересекают плато по диагонали и Хомя ведет его к противоположной стороне распадка. И правда, они вышли к краю ущелья, грохотавшего внизу невидимым потоком. В этих отвесных стенах, наверно, проходил главный створ Ключевой пади. Ущелье петляло, теряясь в обманных отводках, большею частью тупиковых. В них на самом деле можно заблудиться и, не дай бог, свалиться с кручи.

Бросив в кустах велосипед, Хомя пошел краем ущелья, отыскивая знакомое место, нашел, уселся на выступе, свесив вниз ноги, и позвал Сашу.

Если над полем небо слепило глаза, то над расщелиной оно синело густо и ровно. Солнце мазало ее стены уже вечерним светом. Зеленое покрывало на верхней части склонов прорывалось в углах, обнажая суровый остов. Затем оно и вовсе пропадало, и до самого низа шел только камень.

— Там внизу вода вкусная! — сказал Хомя.

— С чего это? — без интереса спросил Саша.

— Попробуй, узнаешь.

— А разве здесь можно спуститься?
— Мы лазим...
— За что же тут держаться?
— Животом надо лезть, руками цеплять кусты, а ноги упирать в гору. Когда кусты кончатся, будут уступы, за них держаться удобно. Все наши тут спускались, никто не свалился.

Саша завистливо поглядел на размах Хоминых плеч и промолчал.

— Показать, как лезть? — спросил Хомя.
— Я сам, — вдруг решил Саша. — Ты только подсказывай.
— Я же тебя видеть не буду. Если забоишься, жмись к стенке, прямо вжимайся в нее. Она корявая.
— Что, вода и вправду такая вкусная? — для собственного оправдания спросил Саша.
— Увидишь, — хмыкнул Хомя.

Трава только издали кажется цельным покровом. А когда уткнешься в нее носом, в жидкой поросли видны красноватые прогалины. К концу июня солнце уже выпарило из растений большую часть влаги, они подвяли и источают утомленно-суховатый запах.

Саша исколол пальцы, хватаясь за мелкие кустики шиповника. Когда он сползал, примятые веточки распрямлялись и били в лицо колючим веником. Приходилось отклонять голову, а от этого ломило шею. Хомю Саша не видел. Высоко над головой простиралось синее небо, под ним коробилась сопка.

Когда травяное покрытие кончилось, полезли ребристые пластины каменной груды. Началась самая крутая часть склона. Рычанье потока стало отчетливее. Сильнее стучало лишь сердце. Казалось немыслимым, что он ползет вниз по абсолютно крутому отвесу. Глаза отыскивали подходящие для ухвата углы, носки кроссовок нащупывали спасительные углубления...

И вдруг опора под ногами куда-то пропала. Он отчаянно искал ее внизу и не находил. Подтянув ноги, нащупал углубление. Хоть и неудобная, а все-таки опора. Дугою зависнув над потоком, насколько было можно, продолжал опускать руки. Поток ревел уже близко. Водяная пыль обдавала холодной росой. Заглянув вниз, увидел сбоку два выпирающих из воды и широких, как посадочные площадки, камня. Если по ребру уступа подобраться ближе, то можно на них спланировать.

Саша уперся ногами в нишу, перебирая руками, пошел по углу уступа, добрался до камней и спрыгнул.

Поток рассыпáлся около его ног свирепыми брызгами и мчался дальше с курьерской скоростью. Саша зачерпнул воды ладонью. Конечно, она вкусней, чем из крана, но такая же, как в любом ключе или колодце. Стоя на камнях, он оглядел

стену, по которой только что сполз, и понял, что наверх ему здесь не забраться. Придется брести по дну ущелья и, если не найдется удобного подъема, долго плутать в отвилках.

Это, наверно, самое глухое место ущелья. Зеленая кромка сливается с небесной синью, оранжевые лучи солнца не дотягивают и до середины коричневых скал, кругом камень. Наверно, Хомя нарочно его сюда заманил, чтобы напугать. Где он там наверху? Край сопок отсюда не проглядывается...

— Эй, Матрос! Матрос! — выкрикнули вдруг из каменных недр.

У Саши отлегло от сердца. Он поискал глазами, откуда кричат. Голос наверняка шел из туннеля, пробитого водою в каменном мысе.

По краю потока, по камням, оторвавшимся от скалы, Саша добрался до отверстия, в которое, как в трубу, с ревом вливалась вода.

— А-а! — крикнул он, и звук его голоса раскатом полетел по туннелю.

— Ты в каменном мешке! — отозвалась труба. — Кайся в грехах, а то отсюда не выйдешь!

— А у меня их нету.

— Не может быть! Они у каждого есть.

— Зачем тебе мои грехи?

— А тебе они зачем?

— Вообще-то да, — согласился Саша и добавил: — Грехи все-таки — тайна, ими не разбрасываются.

— Не бойся, отсюда ничего не выйдет!

— Ну, тогда мой грех в том, что я всегда хорошо учился.

— Это не грех.

— Я сначала тоже так думал, а теперь думаю по-другому. Если один изо всех учишься, это походит на предательство.

— За это на тебя никто не наезжает.

— Но вы вместе, а я один.

— Я тоже бываю один.

— Для тебя это на время, а для меня — навсегда.

— А ты с нами ходи.

— Я занят, а вы свободны.

— Что тогда жаловаться, сам же выбрал? Сразу на две стороны не гребут.

Саша почувствовал, что он насквозь промок: штанины отсырели, вода набралась в кроссовки. От сиденья на корточках занемели ноги. Он снял кроссовки и растянулся на горбатой боковине, под которую затекала вода, руками вцепившись в верхний край отверстия.

— Матрос! Матрос! Чего замолчал?

— Сушусь!

— Ты на камень ложись, вода доставать не будет.

— А я лежу.

— А! — успокоился Хомя.

— А у тебя есть грехи? — спросил Саша.

— Было много, сейчас два осталось. Один я откричу... Показать, как?

На какое-то время труба заглохла. Слышалось, как в узкой горловине клокочет вода. Затем туннель загудел, зарычал и загрохотал, будто в его недрах задвигались камни.

— Э-э-эй! У меня перед теткою Епанчинцевой вина! Мы ее огород конями потоптали! По нечаянности. Тетка бы нас по судам затаскала, если бы узнала. Но мне ее жалко: она на грядках прямо пластается. Пусть у нее все растет и пусть она нас простит!

Помолчали.

— Так покричишь — и все, опять можно жить спокойно? — спросил Саша.

— Ну, по крайней мере знаешь, перед кем виноват.

— А зачем это знать?

— Чтобы с панталыку не сбиться...

— И все тут кричат?

— Все.

— Даже Сыс?

— Ага. Когда виноват...

— И признается?

— Каждый по своей совести вину чует.

— Ты говорил, у тебя еще один грех есть. Он что, на крик не поддается?

— Точно, не отходит.

— Такой большой?

— Противный. Но я его переломлю. Уже начал переламывать.

Снова помолчали.

— Мы с Гавором у микрашников на крючке висели, — заговорил Хомя. — Это еще на первом курсе. Наши, портовские, тогда россыпью держались, а микрорайонские — в стенке. Ну, они нам знакомые — то да се, и прихватили нас с Гавором. Мы, когда расчухали, назад ходу нам не дают. А тогда, — ну, после школы, — я еще не мог за себя постоять. Гавор тоже струхнул. Вот мы и дали слабину, думали, как-нибудь отбояримся. Ха, поддачей разве чего добьешься? Если бы мы сразу сообразили, что нас все-таки двое, да еще ребят бы подключили, нас бы к хвосту не прикрутили. А так мы и коноплю таскали, и водку, и на драки ходили.

Это потом мы их отжали. Сыс помог, Люлич, Молчун с Витягой. А унижение все равно помню. Не знаю, как Гавор, а я себе не прощаю. Говорят, еще в армии такое бывает. Но больше я не поддамся, нет! Пусть только попробуют забагрить!

— Ты коноплю куришь? — спросил Саша.

— Пробовал, но не стал. Я живое люблю, а это зряшный балдеж.

Разговор через слуховую трубу оказался интересным. Водяная пыль холодила Саше лицо и плечо, увлажняла тельняшку. Он старался не замечать неприятной зябкости.

— Серега, а будущего вы не боитесь?

— А чего бояться?

— Вдруг окажется, что не так жили, как надо?

— Ну и что из того? Что отвалится, то и отвалится. Если совсем будет не по нутру, улизнем, как из школы.

— Серега, а без ребят ты сможешь?

— Как тебе сказать? Иногда, конечно, хорошо посидеть одному. Но одного ведь цепляют. Все сейчас стараются в стенке держаться.

— Стенка — это дружба или только защита?

— Это жизнь, понял? Но вот если я один... Дела мне, конечно, хватит. Но на рыбалку я уже не двину и за конями тоже, и ходить буду — оглядываться, как бы кто не пристукнул. Нет, в стенке жить легче. Некоторые ребята сами по себе — вообще пустое место, а в стенке они вроде бы люди. Но я так не хочу. Мне интересно самому по себе что-нибудь значить.

— Мне без товарищей тоже плохо.

— А кто тебя от нас отшибает?

— Ну вот, я многого о вас не знаю, а вы обо мне. Например, вы тут исповедуетесь, а я не знал.

— Теперь будешь знать.

— Теперь-то да... Здорово мы с тобою поговорили, а? Я и не думал, что все над одним и тем же ломают голову.

Саша замолчал, ожидая ответа.

— Эй, Матрос! — окликнул его голос сверху.

Саша выпрямился. Высоко над ним на скальном выступе стоял Хомя. — Хватай конец! — скомандовал он и бросил вниз веревку.

Люличева ватага, будто частоколом, перекрыла дорогу, по которой шла к дому Вероника с очередным кавалером.

— Встали! Думаете, не пройти? — усмехнулась она.

— Ты — проходи. А чужим у нас делать нечего, — сказал Люлич.

— Двор не для вас, он общий.

— Для тех, кто в нем живет, а остальные приходят по разрешению.

— Думаете, если вас много, так можно командовать? — Вероника заслонила собой кавалера. — Думаете, я хожу с каким-нибудь дохликом? У него разряд по боксу. И вообще он мастер спорта. Кому-то из вас будет очень плохо. — Она слегка повернула голову к своему боксеру: — Олег, ради бога, челюсти не дроби и зубы не выбивай.

И как всегда сообразительнее всех оказался Сыс. Молниеносным движением перехватив руку Вероники, он рывком продернул ее через живую стенку. Портовцы снова сомкнулись. Не выпуская руки и не сбавляя хода, Сыс уводил Веронику к домам. Обернувшись, она заметила, что портовцы стоят твердо и неподвижно: значит, все-таки не дерутся.

Сыс подвел пленницу к подъезду и только тут освободил ее руку.

— Ты? — спросила она удивленно. — Почему именно ты?

— Надоело смотреть, как ты перед всеми выставляешься, — мрачно сказал он.

— Я выставляюсь?!

— А то. Всю компанию держишь на прицеле! Нацеливайся на одного, если кто тебе нужен, а остальные-то при чем?

— Да вы чокнулись на своей лавочке! — оскорбленно крикнула Вероника. — Да я вас в упор не вижу, в упор! Понял?

— Бабушке своей рассказывай. Меня такими финтами не проведешь.

— Да закисайте вы на своей лавочке! Мне-то что, — вертанула плечиком Вероника.

На огороде у Ройков греется душ. Узкая железная труба выпускает в воздух чахлую струйку дыма. Полешки в топке в основном прогорели, и вода в баке — настоящий кипяток. Дверь душа распахнута настежь, чтобы помещение немного охладилось.

Люличева ватага раскидалась по двору кто где. Сам Люлич восседал на крылечке дачи и курил. Сыс на скамейке в одиночестве подпирал поленницу. Хомя и Гавор свесили ноги с крыши терраски. Кто-то мостился на обитой железом завалинке. Ожидалось главное после купания — пивное балденье. Еще днем Молчун и Витяга смотались в город за пивом. Но вот уже истопилась баня, а посыльных все не было. Хомя и Гавор шеи вывернули, заглядывая за дома. Сыс держал под прицелом дорогу от домов к огородам. Безо всякой для себя

корысти в дозорное бденье включился и Мухтар. Он запрыгнул на будку и уставился в том направлении, откуда обычно высматривал хозяев.

Молчун и Витяга прошли, наверно, теньком, а заодно и самой малолюдной дорогой — тыльной стороной поселка, впереди домов, к краям сараев и под их прикрытием вывернули к огородам. Поэтому дозорные на крыше их прозевали. Мухтар почуял ребят, когда их еще скрывали сараи. Он заерзал на будке и гавкнул. После чего уже Сыс накрыл прибывших на верхушке дороги.

— Идут, — сказал он.

— Идут! — завопили ошеломленные дозорные и в мгновенье слетели с крыши на землю.

Остальные тоже покинули свои места и подтянулись к углу дачи. Всех интересовало теперь, несут гонцы что-нибудь или нет. Наконец, в одном из просветов между сараями те открылись целиком, и все сразу засекли громадную черную сумку, которую приходилось тащить вдвоем. А раз вдвоем, — значит, груженная, значит, съездили не напрасно, значит, не зря ждали, откладывая мытье...

Несмотря на радостные приметы, ребята сосредоточенно и сдержанно выжидали. Только Мухтар прыгал в счастливом возбуждении.

Гонцы прошли последний по ряду сарай и отворили калитку коллективного огорода, в глубине которого располагался ройковский участок. Теперь прибывшие и ожидавшие видели друг друга. Гонцы в победном приветствии подняли свободные руки — и вся ватага исторгла ликующий вопль.

Еще несколько минут длился звездный миг Сережи Травкина: его радостно одобряли, хлопали по плечу, громко хвалили. Ради таких вот мгновений он и старался. Он знал наизусть все злачные точки города, держал в голове график завоза пива в любую из них. Умел быть полезным продавщицам окраинных забегаловок и ларьков, терпеливо сносил их ворчанье, не уходил, когда прогоняли, и в конце концов обретал их доверие. Продавщицы делали вид, будто понятия не имеют о его возрасте, который из-за высокого роста и свечечной стройности парня не так-то уж резал глаза.

Вместе с Молчуном ребята похлопывали и Витягу, но не так пылко, как Травкина, потому что тот был все-таки главным добытчиком.

Два десятка бутылок с пивом опустили в бачок с ледяной водой. Желающие отправились мыться. Серега Травкин, звездная минута которого истекла, ушел на дачу, кинулся на диван и тотчас же заснул. После добычливых рейсов он таким обра-

зом восстанавливал силы. Ребята ему не мешали. Вечером они зайдут к его матери и скажут, где он спит. А утром она, боясь страшной собаки, проберется на чужую дачу, растолкает сына и отправит его в училище.

Сарайчик-душ гудел голосами и, казалось, вот-вот начнет раскачиваться от бессчетных ударов в стены локтей и колен. Помещение было большим, но водораспределительный рожок всего один. Пока кто-то обмывался, другие кисли в мыльной пене или млели под ударами березового веника, гулявшего по всем спинам подряд. Он переходил из рук в руки, но чаще им поколачивал Витяга, которого парной дух нисколько не расслаблял. Купальщики попеременно, а то и скопом высовывались из душа, глотали воздух и снова ныряли в плотный жар.

Но вот напарившиеся и накупавшиеся поодиночке начали выбираться наружу. Первыми были Сыса и Люлич. Обессиленные, они кулями повалились на прежние свои места: один на крыльце дачи, другой — на лавке у поленницы. В таком же состоянии появился из душевой Гавор и сел возле Люлича. А Витяга и Хомя долго еще крякали, ухали и гудели и закончили мытье завидно бодрыми. Они подсели к Сысу.

...Когда гулявший по своему огороду сосед нечаянно взглянул на пограничный участок и обнаружил там кайфующую компанию, он не сдержался:

— Не успели вырасти — уже с бутылкой.

Сыс, сидевший к нему ближе других, повернул голову и презрительно процедил:

— По вашим следам, мужики. Мало, что ли, вы попили по гаражам да огородам? А сейчас наша радость восходит...

Топорков-старший, сын которого, начав идти по кривой, до сих пор забирал влево, горько посетовал:

— Неужели вы для того только и растете, чтобы наши ошибки повторить?

— Их тоже надо испробовать, — изрек Люлич.

— После того, может, и другого уже пробовать не придется, — предостерег Топорков.

Глаза Люлича зло загорелись. Сыс, сказавший все, что хотел, замер в безмолвном высокомерии. Остальные молча пережидали. Себе дешевле — перетерпеть взрослых, а еще лучше — не замечать их вовсе. Но Люлич взбесился и попер напролом:

— Лекции на спасительные темы нам читают регулярно. Кстати, еще неизвестно, что вреднее — такие разговоры или пиво.

Топорков в отчаянии махнул рукой и отошел.

Подростки уставились друг на друга.

— Ну, гад! — выругался Люлич. — Испортил-таки кайф!

...Гавор приткнул свой мотоцикл около трассы на выезде из поселка и стал ждать автобуса. Когда он возился во дворе с мотором, мимо прошли возвратившиеся из города девчонки. Оказалось, Вероника опоздала на этот рейс и приедет следующим. Тогда-то он и решил встать у дороги, с запасным шлемом на колесе.

Автобус, покачавшись, застыл у столба и выпустил на обочину пеструю толпу. Гавор тотчас же засек розовое платьице и скошенный набок темный пучок волос. Когда Вероника подошла поближе, Гавор слегка выдвинул мотоцикл, чтобы показать, что интересуется именно ею.

— Ты чего тут? — спросила Вероника.

— Тебя жду.

— А зачем?

— На мотоцикле хочу прокатить.

— А-а, — раздумчиво протянула Вероника и придержала шаг. Ничего не решая, она поглядела на Гавора, на дорогу, по которой только что приехала из города. Там был ее мир — с дискотеками, пляжами, главными улицами, барами, с легкими, ни к чему не обязывающими знакомствами, с чередой кавалеров, свиданий и встреч, — пестрый, пьянящий коловорот. Посмотрела на поселок с подступавшими к нему полями, на лески, прикрывавшие эти поля с тыла, на голубоватую волну сопок. Это мир мальчишек. Она видела его из окошек квартиры, со двора, с трассы, со скамейки в огороде, но никогда в нем не бывала и ничего о нем не знала.

— Ладно, — сказала она. — Провези меня по тем местам, где вы, мальчишки, пропадаете. Погляжу, что там такого особенного, из-за чего вы даже на девчонок не смотрите.

— Это же не парк, — хмыкнул Гавор. — Ни клумб, ни лавочек, ни аллей там для тебя не заготовили.

— Да уж, наверно, я соображаю, — фыркнула Вероника.

— Кто тебя знает? Ты же к асфальту приучена.

Вероника снова повела взглядом по поселку — однотипные дома, общий двор с очажками зелени — и сказала:

— Девчонки ведь на рыбалку не бегают. А сидеть тут с утра до вечера — с тоски околеешь.

— Садись, — пригласил Гавор. — Надевай шлем да держись крепче: по колдобинам поскачем.

К началу июля из Люличевой ватаги почти никого во дворе не осталось. Всех разнесло по практикам. Опустевшую бы-

ло скамейку у тополиной стенки, сначала будто примериваясь, а затем по-хозяйки, начала обживать дворовая молодь, следующая возрастная волна мальчишек. Осенью они на законном основании перейдут в старший ранг дворового братства и заранее к этому готовятся: повторяют манеры старших, — подойдя к лавочке, обмениваются рукопожатием с каждым из сидящих, говорят о моторах и рыбалках, по вечерам глядят на звезды и слушают магнитофон. Они еще мельче в росте и жиже в плечах, но прячут это в солидности и новомодности облика. Когда они свыкнутся со своей взрослостью и станут естественней, то в чем-то повторят предшественников, где-то не дотянут, в чем-то будут на них и вовсе непохожи.

А когда через год люличевских ребят смоет со двора армейская служба, их образы все-таки останутся жить во дворе и будут постоянно мерещиться в возмужавшем подросте. То покажется, что вот тот разлапистый и широкий — Юра Артюхов, но это вовсе не он, а богатырски раздавшийся Олег Величко. Вот тот — в отцовских унтах, непременном портовском полушубке и сером кролике — Игорь Говорук? Нет, не он. Это в аэрофлотовской униформе разгуливает Женя Славин. Но вот тот — уж точно Ройко. И правда, Ройко. Только не Серега, а более мелкая его копия — Павлуша. А девчонки, их сверстницы, уже и замуж выходят.